

МОРИС ДЮОН

Коридоры времени



Коридоры времени

Время слепцов



Морис Дрюон

Коридоры времени

Воспоминания



Санкт-Петербург, «ИД Домино»

Москва, «ЭКСМО»

2011

УДК 82(1-87)
ББК 84(4Фра)
Д 78

Maurice Druon
L'AURORE VIENT DU FOND DU CIEL: MÉMOIRES

Copyright © Plon/Éditions de Fallois, 2006

Перевод с французского *Л. Ефимова*

Художественное оформление *С. Ляха*

Оригинал-макет подготовлен ООО «ИД «Домино»

Д 78 **Дрюон М.**
Коридоры времени : воспоминания / Морис Дрюон ; [пер. с фр. Л. Ефимова]. — М. : Эксмо ; СПб. : Домино, 2011. — 240 с.

ISBN 978-5-699-48916-9

Страницы этой книги, написанной Морисом Дрюоном, могут вам утолить любопытство к прошлому и извлечь уроки на будущее.

В поисках своих корней он объездил полмира. Судьба приво- дила его на многие перекрестки Истории.

Писатель прожил почти сто лет. Когда он родился, еще чувст- вовалось дыхание XIX века, а некоторые народы жили в каменном веке.

На склоне лет, на вершине славы Дрюон завершал свой жиз- ненный путь в мире искусственного спутника и искусственного интеллекта. В мире, в котором человек был одновременно и творцом, и жертвой своих невероятных свершений.

Эта книга — размышления не только о смене эпох, но и о смене эры.

От Мориса Дрюона, подарившего нам сагу «Проклятые ко- роли».

Впервые на русском языке!

УДК 82(1-87)
ББК 84(4Фра)

© Ефимов Л., перевод на русский язык, 2011

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2011

ISBN 978-5-699-48916-9

Предисловие

Я родился в одном мире, исчезну в другом, совсем на него не похожем, а читать меня будут в третьем, тоже изменившемся.

Через сто лет все, что я собираюсь рассказать, покажется моим читателям — а хотя бы несколько человек меня наверняка прочтут, если только не случится мирового пожара, — таким же далеким, каким в мое время людям казались «Письма» Плиния Младшего, «Апология» Апулея и прочие произведения двухтысячелетней давности, благодаря которым мы утоляли свое любопытство к прошлому и извлекали некоторые уроки.

Когда я появился на свет, пахали еще ручным плугом, а радио невнятно бормотало и называлось беспроводным телеграфом. Авиацию представляли одни лишь героические стрекозы. В самых больших наших городах, за исключением Нью-Йорка, дома не превышали шести этажей.

Во всем католическом мире мессу служили на латыни. Для девушек не представляли иной участи, кроме брака, и в принципе они должны были прибывать к нему девственными. О сексе не говорили, а если и случалось, то либо иносказательно, либо с грубой похвальбой.

От рака или инфаркта тогда умирали гораздо реже, потому что умирали от других недугов. Зараз-

ные болезни подстерегали человека с детства и сражались в любом возрасте. Старость начиналась рано и угасала обычно дома. Старик, чувствовавший приближение кончины, обращал, если у него оставались силы, несколько слов к своему потомству, собравшемуся вокруг его постели.

подавляющая часть переписки велась от руки. Любая поездка была событием редким, неторопливым, к ней долго готовились, смаковали, она все еще казалась приключением.

Люди, разбросанные по земле, отнюдь не были современниками. Некоторые народности глубинной Африки жили в каменном веке. Ближний и Средний Восток являл собой зрелище библейских времен. Галисию, Сицилию, Эпир населяли средневековые крестьяне, французские провинции — бальзаковские буржуа, английские графства — диккенсовские.

Манхэттен и Чикаго удивляли как раз потому, что развивались в ногу со временем; а в нескольких лабораториях, в основном европейских, уже начали создавать будущее. Однако все эти несоответствия мало кого беспокоили, потому что о них почти никто ничего не знал.

Основным источником энергии был уголь; нефть изрядно от него отставала. Все еще широко использовалась упряжная лошадь. И дороги Франции имели предписанную Наполеоном ширину, чтобы на них могли разъехаться два обозных фургона его армий. Дальнобойность пушек, за исключением некоторых особых орудий, не превосходила пятнадцати километров, а солдаты сражались холодным оружием.

Еще был близок XIX век. Его произведения питали мысли и мечты. Все системы правления, все режимы следовали его философским идеям или политическим теориям.

По-настоящему век заканчивается только в первой четверти следующего. Двадцатый продлится до 2015–2020 годов. Сто лет — и впрямь слишком мало, чтобы изменить Вселенную, и достойна восхищения способность людей приспособливаться к преобразованиям, порожденным их же собственными трудами или, лучше сказать, трудами некоторых из них.

В мире, где угасает моя осень, каждый человек вступает или может вступить в непосредственное общение со всеми другими людьми, которых около шести миллиардов, хотя, когда я впервые открыл глаза, их насчитывалось только два, а завтра их будет уже семь.

Общение устное, общение воочию: можно говорить друг с другом из любой точки планеты и непосредственно наблюдать все происходящее там. Что порой делает нестерпимыми материальные диспропорции, выставленные таким образом на всеобщее обозрение.

Главы государств действуют на глазах своих народов, а потому им приходится решать прежде, чем они успели поразмыслить, и они вынуждены укрываться за крайне изощренными магнитными экранами, чтобы не были слышны их вздохи в постели. Людовик XIV, от которого обычай требовал, чтобы он облегчал желудок в присутствии своих придворных, и то располагал большей интимностью.

Комбинированные достижения химии, биологии, бактериологии, фармацевтики и высокоточной металлургии вкупе с концентрацией световых излучений произвели медицину, которая имеет меньше сходства с той, что практиковали пятьдесят лет назад, чем та, в свою очередь, имела с медициной Галена и Авиценны. Вакцинации и антибиотики обезоружили большую часть эпидемий. Так что в бедных странах, население которых быстро растет, дети умирают не от болезней, а от голода. Хирургия уже не ограничивается ампутацией; с помощью протезов или пересадок она заменяет наши кости, сосуды, внутренние органы. Агония все больше путается в трубках и проводах, а душе остается все меньше места.

Выявление еще на ступени зародыша недугов, к которым предрасположен человек, позволит более-менее уберечь его от них; профилактическая медицина уменьшит роль медицины лечебной. И при этом разовьется способность изменять генотип, то есть «программу», записанную в хромосомах. Однако никакая сила или власть не застрахована от того, чтобы к ним не протянулась чья-нибудь рука с намерением завладеть. Слишком уж велико будет искушение фабриковать категории человеческих существ, наделенных такими-то или такими-то способностями.

Доля мускульной энергии в наших трудах стала ничтожной. Этот век извлекает свое горючее из царства Аида. Ему безразлично, что нефть — жидкая смерть. Аид ведь слеп.

Ныне большая часть материалов, которые мы используем для своих построек или обиходных пред-

метов, — синтетические. Природные же остались либо тяжким бременем бедной части населения, либо роскошью богатых классов. А планета сплошь усеяна удручающими отходами. Способность распепить или расплавить ядро атома загнала человечество в эпоху величайших рисков, хотя мифология предупреждала нас об этом. Но мы забыли мифологию. Прометей был наказан отнюдь не за пользование огнем, а за то, что похитил семя огня. Нынешних ядерных арсеналов вполне достаточно, чтобы на века обесплодить целые континенты, а малейшая атомная станция, если в ней распаяется какая-нибудь трубка, способна уничтожить несметное множество живых существ. Нелегко будет научиться жить с заводом по производству молний в руках! Человек познает, что значит воссесть на престол Юпитера. Не исключено, что он сумеет на нем удержаться, но ему понадобится сделать над собой серьезное усилие.

Все орудия, все механизмы, изобретенные и изготовленные людьми, схематически воспроизводят либо органы, либо части органов человека или животных. Изобретают ведь, лишь отталкиваясь от чего-то известного и по его образцу. Но теперь аппаратура, устроенная наподобие наших синапсов*, осуществляет на повышенной скорости простые мозговые операции. И никакая промышленность, никакая администрация, никакие исследования уже не могут обойтись без этого так называемого искусственного интеллекта, который, однако, достаточно похож на нас, чтобы порой бредить.

* Синапсы — соединение двух нервных клеток. (Здесь и далее прим. перев.)

Я начинал свою учебу, неуклюже пытаюсь выводить толстые и тонкие черточки. Видя сегодня, как ребенок, еще не умеющий писать, уже пользуется компьютером, я вынужден признать, что мы принадлежим к разным векам.

Над этим ребенком кружат искусственные спутники, преодолевшие земное тяготение, соединяют нас для разговора, распространяют наши послания, предвидят, какая будет погода, а еще выше монтируются космические станции и зонды летят фотографировать кольца Сатурна. Все, что я сейчас весьма поверхностно перечислил, осуществилось за время моей жизни; и среди множества отметивших ее встреч отнюдь не самым большим сюрпризом была честь целых двадцать лет состоять в одной иностранной академии вместе с первым человеком, ступившим на Луну.

Все эти чудеса, подвиги, потрясения я наблюдал не только с восторгом, но и с тревогой. И подчас мне кажется, что я пережил древность некоей вселенской цивилизации. Если не ее темную предысторию.

Речь идет уже не о смене эпохи, но о смене эры. Я вижу, как зарождается человечество, которое будет разделено не на классы, а на касты: внизу — обширный плебс, который мнит себя вполне сведущим, поскольку умеет, нажимая на клавиши, задавать вопросы и читать с экрана ответы «да» или «нет», но никогда «быть может»; а над ним — каста всемогущих великих жрецов, верховных властителей программного обеспечения, которая в силу этого распоряжается всякой мыслью и деятельностью.

Человеку потребуются или будут навязаны другие ментальные схемы, другие способы познания и определения своего места в космосе, другие иерархии.

Одновременно творец, пользователь и жертва стольких свершений, он две сотни лет изо всех сил рвался к этой невероятной власти.

Найдет ли он способ обуздать ее?

*

Счастливы древние египтяне: память о них хранят каменные страницы.

«Я, имярек, и это моя скрижаль.

При моем рождении Гор просветил меня.

Я был обучен медицине, астрономии, геометрии, а также искусству письма и знанию истин. Мне ведомы имена богов, что охраняют врата.

Мои дарования и познания влекли меня к важным должностям. Я командовал войсками, я руководил ведомствами. Я повелевал и строил. Я отличился среди отличнейших, и мои труды не могут быть забыты.

Моя жизнь была прямой. Мне повиновались подчиненные, и я всегда делал подношения храму. Я не взвешивал на неверных весах.

Моя слава превзошла славу моих предков. Мне незачем сворачивать к худшей жизни.

Фараон усадил меня на седалище столь же высокое, как и его трон, и мое имя навсегда останется неотделимым от его имен».

И точка.

Этим людям не приходилось стеснять себя притворной или подлинной скромностью. Гордость была для них ритуальной обязанностью. Ибо стела, текст которой долго обдумывали и сами составляли, предназначалась отнюдь не для людского чтения; но в тот миг, когда они покидали зримый мир, ей надлежало предстать пред глазами богов. Пропуск в вечность.

Ошибки, неудачи, превратности судьбы не полагалось упоминать в этом жизнеописании на песчанике или порфире. Угрызения совести тоже. На какое достойное место по ту сторону реки мог надеяться тот, кто прибыл бы, сообщая в строках из соколов, лотосов и змей: «Я предал брата, я мошенничал на поставках, я участвовал в заговоре против своего государя, который недостаточно меня ценил. Я проиграл такую-то битву, потому что начальник конницы не понял моего приказа. Строившие пирамиду рабочие забастовали, потому что их кормили стухшей рыбой...»

Божественным властям мерзости не предъявляют. И подобно тому, как священный обычай требует каждое утро перед молитвами кропить себя очистительной водой, последнюю зарю подобает встретить, омыв свой образ от всякой скверны.

Египтянин самим собой, своей собственной персоне чтил породившее его божественное начало. Идеализировать не значит лгать. Это значит извлечь самую суть побуждений, очистив их от шелухи пошлостей.

Состоит ли истина нашего существа в том, что мы претерпели, или в том, чего желали? И что достойно будущего суда? То, что мы испортили, под-

делали, бросили, или же то, что пытались сделать и частично смогли?

Внутреннее побуждение современного человека поведать о собственной жизни, особенно если он принимал участие в делах своего века, наверняка имеет тот же исток. Современный человек, когда перед ним рисуется линия последнего горизонта, тоже хочет стать носителем своего изображения, своего двойника для потустороннего мира. Остается в наших хромосомах что-то от Аменхотепа, сына Хапу.

Мирское продолжение священной традиции, «мемуары» — те одежды, что облекут нас на смертном ложе; они — глянec нашего саркофага.

А иначе что может быть смехотворнее, чем уповать на бессмертные бумаги, чтобы удержаться чуть больше, чуть меньше в памяти вида, который рано или поздно исчезнет с планеты, в любом случае обреченной остыть?

Наука оказала бы нам большую услугу, подтвердив, что вечность не от мира сего.

Для умов, которые чувствуют, что связаны с Вселенной, или желают этого, такого рода завещательные писания ради продления жизни в дольном, столь ограниченном мире являются, быть может, условием доступа к жизни истинной, платой за вход в круги бесконечного могущества, которые мы не способны себе представить, но думаем о них беспрестанно.

Тот, кто скажет: «Божественный гончар, вылепивший сосуд моей судьбы, вот деяния, которыми я его наполнил», может ожидать или, по край-

ней мере, надеяться, что перед ним откроются врата. В горделивом *exegi monumentum**, бывшем в ходу у латинских авторов, тоже присутствует это смирение.

Свидетельствование — заключительный акт нашей миссии, который придает ей полную завершенность, в изначальном смысле слова. Мы исполнители крошечной частицы некоего замысла, осуществление которого возложено на целое человечество, и наш последний труд состоит в том, чтобы поспособствовать первому и самому необходимому из его благ: памяти.

Обращаясь к богам, египтяне могли быть краткими, они сводили вещи к их сути или, по крайней мере, к самому существенному. Мы же, обращаясь к подобным себе, вынуждены быть многословными, поскольку именно через подробности они могут узнать в нас себя, понять, чем мы были, или представить себе время, в котором мы жили.

Кому, чему и когда послужат эти воспоминания, если судьба даст мне закончить их?

Один мой давний и близкий друг однажды сказал мне великодушно: «В такой жизни, как ваша, значимо все, даже то, чему вы сами значения не придаете. Все в ней — какой-нибудь знак». Дай-то бог, чтобы этот ревностный верующий, превосходный врач и к тому же мастер дзен был бы хоть отчасти прав.

В автобиографии автор говорит только о себе; в воспоминаниях он говорит обо всем. Так что вот

* «Я воздвиг памятник» (*лат.*) — начало знаменитой Оды Горация (III, 30), вызвавшее большое количество подражаний.

страницы, написанные урывками, с долгими паузами, возобновлениями, возвратами к забытому и прихотями ума; каждый, кто возьмется за их чтение, волен остановиться в любом понравившемся ему месте и почерпнуть что захочет.

*

Путь, которым прошло мое поколение, был на всем протяжении окаймлен то обрывами, то трясинами. Нам не поскупились ни на ужасы, ни на глупости. Для лучших из нас риск был неотделим от чести жить.

Мы беспрестанно оказывались на развилках, где требовалось выбрать завтрашнюю дорогу.

Мы были окружены людьми, которые изо всех сил старались отыскать «смысл жизни». Но сколь немногие заботились о том, чтобы придать смысл смерти! Хотя она окружала нас во всех своих видах и беспрестанно преследовала. К тому же мы были больше склонны почитать человеческое, нежели божественное.

Судьба приводила меня на многие перекрестки. Я, как говорят, жил вместе со своим веком. Вот и настала пора засвидетельствовать это.

К выпячиванию своего «Я» со времен Паскаля относятся с презрением. Но зато «я» с малой буквы необходимо, когда требуется описать доставшую тебе долю в трудах и днях некоего момента мира. Это наиболее простой, а стало быть, самый честный способ представить себя другим, времени, Богу.

Мне известно, что я лишь пылинка на этой Земле, которая и сама лишь пылинка в неисчислимой

бесконечности. Если человек получил божественный дар слова, чтобы обозначить всякую вещь, то письмо было даровано ему для того, чтобы он оставил след своего пути, как погасшая звезда оставляет на небе след того, чем была прежде.

Книга первая
ТЕ, ЧЕРЕЗ КОГО...



Все, что с тобой случается, изначально уготовано тебе, и это хорошо.

Марк Аврелий

I

ЕСЛИ МЫ ЗАДУМАЕМСЯ О ПОСЮСТОРОННЕМ

Я очень рано почувствовал, что родился не зря.

Признаю, что такая точка зрения подходит для любого существа на Земле. Но я осознал это сильнее и раньше других, поскольку чрезмерное стечение того, что именуют случайностями, подавляет самую мысль о случайности.

Когда я представляю себе рассеянные по двум векам лица или одни лишь силуэты тех, через кого пришла к осуществлению моя жизнь, когда, перешагивая океаны и континенты, оцениваю их географический разброс, когда прикидываю, насколько маловероятны были их встречи, однако произошедшие, когда прохожу через эту пеструю портретную галерею, где соседствуют противоположности и сталкиваются характеры, но все же объединяются, часто лишь для того, чтобы тотчас же снова разделиться, когда подвожу там итог трудов и мечтаний, амбиций, свершений и неудач, в которых единства было не больше, чем в диссонансе, мне не удается убедить себя, что все это случайность. Хотя мы видим лишь самый кончик нити, который Парка вытянула из бесконечности для каждого из нас.

С юного возраста — я хочу сказать с тех пор, когда начинает формироваться мысль, — и вопреки баюкавшим меня семейным легендам, которые венчали ореолом оправданной или приукрашенной славы эти призраки, явившиеся в четырех основных точках, у меня никогда не возникало впечатления, что я их потомок *по нисходящей линии*. Скорее уж я чувствовал себя *восходящим* — упрямо поднимающимся странными окольными путями по склонам земли, по излучинам рек и по ступеням времени, чтобы выплыть на поверхность сознания и действия.

Я верю просто, но твердо, что воля к жизни предшествует самой жизни, что она приходит из дальней дали и упорно ищет себе обиталище, потому что она — частица божественного в нас, упорядоченная связь с космосом.

Мы живем внутри Вселенной, замкнуты в некоем тесном месте, в маленьком внутреннем дворике, и понятия не имеем об остальном дворце, о его огромных коридорах, гигантских залах, величественных парках. Ничего или же так мало! Все, что, как нам кажется, мы знаем, лишь угадано нами по смутному гулу, по отзвукам, долетевшим из-за стены, или по отблескам в уголке неба над нашим двориком, хотя это, быть может, всего лишь большой навес.

Но в этом заточении мы все облечены некоей задачей, даже если не можем представить себе, кто ее на нас возложил.

Почему среди бесконечности возможных комбинаций и пропавших семян именно наше число, наша цифра выпали из таинственной руки, что та сует карточную колоду генов и хромосом?

Я верю просто, но твердо, что каждый, сподобившийся милости и чести явиться на свет, должен исполнить, чаще всего неосознанно, крохотную, но всегда незаменимую частицу провиденциального замысла. А осознать это — добавочная милость.

Дня не проходит, чтобы мы, в зависимости от нашего характера, настроения, обстоятельств, не задумывались с большей или меньшей тревогой, ужасом или смирением о *потустороннем*. Наша литература, наша философия говорят только о смерти. Но мы поступаем подобающе, лишь когда забываем об этом. Почему же мы не задумываемся так же часто о *посюстороннем*, столь же таинственном, столь же достойном размышлений и способном наделить нас не меньшей мудростью и большей страстью?

Египтяне так тщательно готовили свое потустороннее как раз потому, что основывались на очень светлом, очень надежном и очень устойчивом представлении о посюстороннем. Они признавали себя призванными, в этом и состоит их благородство. Они учили нас мыслить себя тем, что мы есть: мгновением эфемерной, но необходимой энергии между двумя бесконечностями.

Нам позволительна любая гордость, и любая гордость оправдана при условии, что мы никогда не будем терять из виду нашу «бесконечность».

*

Я уже несколько месяцев писал эти начальные страницы, когда наткнулся у Халиля Джебрана, ливанца, жившего в начале века и мало известного французам, но чье произведение «Пророк», кото-

рое он переписывал семь раз, было опубликовано более чем в сотне миллионов экземпляров по всему миру, на следующий пассаж:

«Ваши дети — не ваши дети.
Они сыновья и дочери зова самой Жизни.
Они приходят через вас, но не от вас».

По меньшей мере нас двое, разделяющих одну и ту же основополагающую мысль.

Так что я со спокойной душой могу пригласить моего читателя, если ему угодно за мной последовать, в коридоры времени, чтобы полюбоваться вереницей висящих там портретов, подчас необычных.

II

В ОДНОМ ГРАДУСЕ ОТ ЭКВАТОРА

Явились ли эти охочие до приключений дворяне из Порто или Лиссабона, из Альгарве или Браганцы, чтобы после странного Тордесильяского договора, по которому Папа Александр VI Борджа разделил владение Западной Индией между двумя иберийскими королевствами, создать империю для короля Португалии?

За четыре века Океан стер кильватерный след их каравелл.

Испанцы отправили своих *конкистадоров* — «завоевателей», португальцы своих *дескобридоров* — «следопытов». Вся разница в названии. Из этого раздела родилась Бразилия.

На ее северном побережье, всего в одном градусе от экватора, я и нахожу моих первых поддающихся распознанию предков — в городе Сан-Луис провинции Мараньян.

Сан-Луис был основан французами, в те времена, когда они тоже хотели выкроить себе кусок на новом континенте, в самом начале царствования Людовика XIII, откуда и название Сен-Луи, которое получило их поселение.

Эскадра, которой командовал г-н де Ривардьер, обнаружила там удобную якорную стоянку, дружелюбное туземное население и, за отсутствием золота, ценные породы деревьев или красители, торговля которыми могла бы стать плодоносной. Но, построив первые бастионы, жилища и склады, французы не смогли удержаться больше трех лет; португальцы вынудили их покинуть этот берег.

Однако еще и сегодня, когда старая борьба забыта, Сан-Луис с некоторым удовольствием вспоминает о своем французском происхождении.

Чуть позже явились голландцы и обосновались на двадцать лет, с 1624 по 1644 год.

Из этого времени поднимается, словно из подполья, где пребывал слишком долго, первый портрет. Лицо стерто; на полотне почти не осталось красок. Едва различимы лишь тень шляпы с большим пером, след шпаги, очертания высоких сапог с раструбами. Но на раме уцелело имя: Антонио Тексейра де Мело. Он освободил Мараньян от голландского владычества. Герой.

Чуть дальше возникает другой персонаж — горячий и кипучий Мануэль Бекман, который в 1684 году возглавил некий неудачный переворот и чья слава дожила в местном масштабе до прошлого века. Что за переворот и с какой целью? Признаюсь, мне было недосуг заняться исследованием. Быть может, какой-нибудь специалист по истории Мараньяна скажет мне это.

Затем на протяжении ста лет стены моего входящего коридора пустеют. Должно быть, струны, удерживающие умерших в памяти последующих поколений, слишком истончились и порвались.

Но в конце XVIII века появляются в своем са- лоне колониального стиля или в своем экватори- альном саду внук (или правнук) Тексейры де Ме- ло, крупный землевладелец *капитано-мор* Фран- сиско Раймундо да Суна, и внучка (или правнучка) кипучего Бекмана, донья Мария Корреа Фариа. Они только что поженились.

24 января 1799 года родился их сын Манозель Одорико.

Однако вот первая странность в его родослов- ной, касательно гражданского состояния, чреватая многими другими: почему этот Манозель Одорико, принадлежавший к «двум самым древним и про- славленным семействам страны», как напишут его биографы, никогда не носил фамилию своего отца *капитано-мора*, а взял или получил фамилию при- смного отца (дяди или крестного) Манозеля Мен- деса да Силва, от которой, впрочем, отбросил «да Силва»? Должно быть, тут кроется какая-то неве- домая драма.

Позже его дети, уже за границей, присоединят фамилию своей матери, украшенную титулом мар- киза. Моя прапрабабушка подписывалась Фариа- Мендес. И чтобы еще больше сгустить тайну, один очень любезный бразильский дипломат, Клаудио Линс, сообщил мне, что у Манозеля Одорико был брат Аристид Одорико, тоже носивший фамилию Мендес, от которого он и происходит. Таким обра- зом, этот дипломат оказался единственным извест- ным мне родственником с той стороны.

В конце XVIII и начале XIX века Сан-Луис на- зывали бразильскими Афинами. Там, на берегах свинцового океана, вопреки удушливой жаре сфор-

мировалось живучее интеллектуальное общество — пылкое, питавшееся классической древностью и французскими идеями. Там сочиняли, писали, публиковали, спорили и декламировали, устремив глаза к Парижу «просветителей», Академии энциклопедистов; к революционным бурям и сотрясавшим Европу Наполеоновским войнам, которые рикошетом задели и Бразилию: португальской монархии по совету Веллингтона пришлось укрыться в своей огромной колонии.

Когда Европа успокоилась, Одорико Мендес был отправлен в Коимбру для изучения медицины; однако вместо этого прослушал там курс лекций по философии, правда не закончив.

Он почувствовал, что призван вихрями, всколыхнувшими его страну, и в 1824 году вернулся на свою родину в Мараньян. К тому времени Бразилия уже два года как провозгласила себя независимой. Мендес становится активистом либеральной партии, основывает газету «Аргус Закона», избирается депутатом. Пишет также «Гимн вечеру», оставшийся в памяти его соотечественников и предвещавший романтического поэта, которым он, правда, не стал.

Как оратор, Мендес умел завладеть вниманием слушателей, но обладал не слишком гибким характером и не поколебался возразить императору, дону Педру I, хотя был довольно близким его другом, когда тот публично упрекал его за противодействие своим министрам: «Я очень верный подданный вашего величества, но что касается моего мнения, то всегда выражаю его, согласно совести, ради этого я и был избран».

У меня есть гравированный портрет дона Педру I. Красивое овальное лицо, красивые выющиеся волосы, красивые, немного грустные глаза, красивый стан, затянутый в мундир того времени, с высоким воротником, весь расшитый и усыпанный орденами. Глядя на него, я слышу голос своего предка, которому тот недостаточно внимал.

Во время насильственного отречения и отъезда дона Педру I Мендес сыграл важную историческую роль. Это стало его звездным часом. Благодаря своему влиянию и позиции, достойной античных образцов, он уберег страну от впадения в анархию, вдохновив организацию Регентства. Быть может, ради этого незаменимого поступка он и был призван к жизни. Впрочем, для самого себя он не извлек никаких выгод, отказавшись участвовать в осуществлении этого Регентства. «Я способствовал свержению императора во имя своих идей. А не для того, чтобы заменить его собой». Мендес упрочил принцип преемственности власти.

Основатель «Общества защитников свободы и национальной независимости» — эта программа по-прежнему актуальна, — несколько раз избиравшийся депутатом, потом сенатором, он стал по совершеннолетию дона Педру II командором ордена Христа и был облечен должностью, обеспечивавшей ему пенсию. В 1847 году, удалившись от политической жизни, которой посвятил четверть века, Мендес обосновался в Париже, тогда мировой столице литературы и мысли. Обладая некоторыми дипломатическими привилегиями, Мендес провел там семнадцать лет, лишь изредка и ненадолго возвращаясь в родную страну.

Именно в Париже он закончил и опубликовал напечатанный типографом с улицы Карансьер полный стихотворный перевод произведений Вергилия на португальский язык, названный им «*Virgilio brasileiro*»*, благодаря чему и сам удостоился этого прозвания. Девять тысяч стихов «Энеиды» в девяти тысячах португальских двенадцатисложных стихов! Таким же образом им была переведена и «Илиада». Он продолжал гордо подписываться: Мануэль Одорико Мендес «*da cidade de S. Luis do Maranhão*»**. Он состоял во многих академиях, в том числе и в Лиссабонской.

Одним из самых дорогих его мечтаний было повидать Италию, что он и осуществил, город за городом, гробница за гробницей, побывав везде, где из земли выступал какой-либо обломок римской цивилизации. И умер в шестьдесят пять лет от сердечного приступа, в поезде между Лондоном и Кройдоном.

Думаю, что из генетической карточной колоды лучшие козыри мне достались от этого гуманиста, делившего свою страсть между классической литературой и государственными делами, античными руинами и свободой своей нации.

Я миновал возраст, в котором он ушел из жизни, когда, приехав в Бразилию по приглашению президента Жозе Сарнея, выдающегося уроженца Мараньяна, получил наконец возможность посетить эту провинцию величиной с две трети Франции, откуда произрастает часть моих корней. Город Сан-

* «Бразильский Вергилий» (португ.).

** «Из города Сан-Луис ду Мараньян» (португ.).

Луис приготовил мне волнующий прием, чувствуя меня как потомка некоторых своих знаменитых сынов. Моим восторженным гидом стал другой известный житель Мараньяна, писатель Жозе Монтелло, будущий президент Бразильской академии, а тогда представитель своей страны в ЮНЕСКО.

Как только я прибыл, мне немедленно показали памятник Одорико Мендесу. Странный монумент! Ибо мало кто из людей удостоился права быть похороненным посреди площади родного города, с бюстом на могиле. Мой пращур смотрит на живых чуть сверху, его чело обжигает экваториальное солнце.

Во время второй своей поездки туда, которую я совершил в обществе самого Жозе Сарнея, власти города распорядились поместить у подножия колонны бронзовую табличку, упоминающую мой приезд.

Уникальный своими домами, чьи фасады украшены изразцами *азулежос*, Сан-Луис причислен к сокровищам мирового наследия и достоин того, чтобы его реставрация продолжилась. Возвышающийся над океаном губернаторский дворец — чистый XVIII век — словно хранит отзвуки былых канонад и удерживает в своих стенах эхо музыки прежних балов.

Супруга Маноэля Одорико Мендеса, которая, похоже, была довольно скромна, поскольку не привлекла внимания биографов, родила ему дочь по имени Леонилла и, кажется, двоих сыновей. Учителя для этих сыновей, достигших школьного возраста, он искал в Париже. Тот, кого он нашел, звался Антуаном Кросом, изучал медицину и тоже увле-

кался эллинизмом и римской культурой. Дочь Одорико Мендеса была, как тогда говорили, «заморской красавицей». Учитель, чье лицо обрамляла черная шелковистая борода, отличался обаянием и чисто провансальской пылкостью. Молодого безденежного провинциала наверняка ослепила жизнь на широкую ногу, которую вели богатые южноамериканцы. К тому же Одорико Мендес был либерален, очень либерален.

Но тут мне надо увлечь моего читателя, если ему угодно, в другой коридор, который открывается на юге Франции, у подножия Корбьер.

III В НАРБОННСКОЙ СТОРОНЕ

В Нарбоннезе, прежней Нарбоннской Галлии, от античной цивилизации сохранилось больше, чем почти во всех остальных областях Франции. Эта провинция помнит, что была римской. Земля здесь суха, дух горяч.

Маленький, когда-то укрепленный городок Лаграсс между Нарбонной и Каркассоном был из тех поселений, что не входили ни в какой феодальный лен и управлялись самостоятельно, избранными *консулами*. Семьи, из которых когда-либо выходил *первый консул*, удостоивались чести называться *консулярными*. Таковой была семья Крос — конечно «с» в этом южном краю произносится.

В середине XVIII века тут успешно занимался ремеслом портного Мартен Крос, обшивая местных именитых граждан. На роль крестного отца для своего первенца Антуана, родившегося в 1765 году, он выбрал из своих клиентов архитектора. Ребенок оказался одаренным, и архитектор подтолкнул его к учебе, не подозревая, что тот даст начало череде странных потомков, у каждого из которых будет особенная судьба. Оставив сукно и родительские

ножницы своему младшему брату, Антуан Крос, которого я впредь буду называть старшим, в двадцатилетнем возрасте оказался преподавателем средних школ Брива и Перигё, у «братьев христианского вероучения».

В 1792 году, во время революционных бурь, Антуан Крос вернулся в Од и набрал там батальон из семидесяти семи добровольцев. А в 1794 году безумно влюбился в Пернетту Бланшю, весьма красивую барышню-протестантку, родившуюся в Женеве и, как говорили, довольно близкую родственницу Жана Жака Руссо. На ней он и женился февральским вечером, в девять часов, в пиренейской деревне, где стоял его отряд. Какие счастливые или несчастливые часы привели его к рубежам Испании? Потом Антуан-старший почти сразу же ушел к границам и вновь появился только через пять лет, все в том же капитанском чине, с которым уходил, и обосновался в Лезиньяне, открыв там частную школу.

Помимо различных школьных учебников он написал «Опыт общей грамматики», получивший в 1800 году премию Французского института как «полезнейший для народного образования».

При Империи Антуан-старший получил в Париже степень доктора филологии и слыл одним из лучших эллинистов Франции. При Людовике XVIII был назначен профессором Консерватории музыки и декламации на кафедре, созданной специально для него, где преподавал язык, стихосложение, историю и мифологию. В то же время он держал пансион для нескольких учеников в своем доме на улице Сен-Доминик, рядом с Домом Инвалидов.

Антуан-старший опубликовал еще и перевод «Идиллий» Феокрита. А потом вернулся в родные края, в Нарбонну, чтобы взять в свои руки другую частную школу, названную им «Учебное заведение Кроса».

У Антуана-старшего был один-единственный сын Симон Шарль Анри. Одаренностью мальчик пошел в отца, однако ему до странности не доставало здравого смысла.

Признаюсь, что прежде совсем не интересовался этими людьми; они открылись мне, когда я копался в старых архивах и перелистывал монографии былых времен, желая составить свою родословную — развлечение моего возраста перед забвением. Но при этом я обнаружил также, что каждого из них обуревала потребность писать, все получили классическое образование и были довольно яркими личностями. Остановлюсь ненадолго на этом Симоне Кросе, который, кажется, обладал особой способностью творить собственные несчастья.

Он родился в 1803 году — современник Виктора Гюго. Довольно рано стал доктором права, какое-то время примеривался к адвокатуре, помогал отцу в учебном заведении, потом занял его место. Лет около тридцати он нашел себе супругу в семье врачей, зажиточных собственников, живших в Фабрезане, другом селении Ода, которое стало второй семейной колыбелью. Написав в двадцать два года трагедию в стихах «Генрих III», принятую в «Одеоне» и запрещенную цензурой, Симон Крос приобрел также репутацию местного философа, опубликовав в Нарбонне отдававшую адской серой «Теорию ин-

теллектуального и морального человека». Тут-то и началась драма.

Под его руководством «Учебное заведение Кроса» приходит в упадок. Каркассонский епископ жалуется на «противные здоровой морали» публичные защиты диссертаций, которые устраиваются там каждый год.

Тогда Симон Крос ходатайствует о кафедре уголовного права в Тулузском университете, но получает отказ. Не беда. Раз его отвергает провинция, надо добиваться признания в Париже. Туда-то он и перебирается вместе с женой и четырьмя родившимися у них детьми.

Он ходатайствует о кафедре, которую занимал в Консерватории его отец. Отказано. Ходатайствует о кафедре политической экономии на юридическом факультете. Отказано. Просит правительство поддержать публикацию его пресловутой «Теории», которую постоянно переделывает, издавая тощими тиражами. В поддержке отказано.

Вдобавок ко всему он был наивен. Как только он мог вообразить, что ему — республиканцу, франкмасону, вольнодумцу — власти окажут денежную помощь?

Дергая черта за хвост, беспрестанно переезжая из одного квартала в другой, пробавляясь только частными уроками, он со своими невзгодами является собой иллюстрацию несомненной нищеты за романтическими фасадами июльской монархии. Можно вообразить убогие семейные трапезы, поданные в бедно меблированной комнате измученной матерью, тоскующей по своей проведенной в довольстве юности, в то время как отец, длинный, сухопарый

и говорливый, размахивает истрепанными манжетами, разглагольствуя о несправедливости времен.

И все же Симон Крос обладал обаятельным умом, о чем свидетельствуют верные, хотя и ничему не послужившие дружеские связи, которые он поддерживал в академических кругах.

Вдруг этот пустой мечтатель совершает от имени *карбонариев* (но на какие деньги?) таинственную поездку в Сардинское королевство. Вызволять его оттуда приходится консулу Франции.

Симон Крос продолжает звонить в двери правительства, которое сам же хулит, добиваясь «пособия» по линии литературы и наук. Эту денежную помощь, которую охотно предоставляют общепризнанным писателям, он все же получит, но всего один-единственный раз. Пятьсот франков. И открывает на них в королевском «Атенеуме» на улице Дюфо курс публичных лекций «Введение в философию», где по вечерам будет оттачивать собственную «Теорию», которую по-прежнему считает главным трудом своей жизни. Количество слушателей неизбежно должно напоминать ему о сроке квартирной платы.

В самом конце правления Луи Филиппа Симон Крос находит-таки место. Получив назначение в коллеж Жуаньи, он преподает там философию и историю классу из трех учеников. Главный инспектор описывает его «невежливым, болтливym, исполненным самоуверенности и самомнения» и называет «одной из главных бед этого несчастного коллежа», поскольку своим обучением тот подрывает устои, не умея при этом заставить школяров уважать себя.

В течение революции 1848 года и короткой Второй республики он много суетился в этом ионском кантоне; участвовал в избирательной кампании 1849 года как кандидат социалист и держал речи в кафе.

Его расклеенное на стенах обращение «К республиканцам Ионы» до странности опередило свое время. Провозгласив «Уважение к вечным основам Семьи и Собственности! Уважение к Нравственности и Религии! Долой коммунизм! Облегчение страданий Народа...», он проповедует:

«Установление Прогрессивного Налога на всякий Чистый Доход!

Учреждение Ипотечного Банка для обеспечения Земельного Кредита! Учреждение Сберегательной Кассы для расширения доступа Ассоциаций Рабочих к Промышленному и Коммерческому Кредиту!

Бесплатное Обучение всем разрядам!

Отмена Смертной Казни! Долой Гильотину!»

У этого мыслителя из захолустья в душе было будущее. Но чтобы его программа, полная заглавных букв, перешла от утопии к осуществлению, потребовалось больше века.

Обладая даром не уживаться со всеми режимами, даже с теми, что шли навстречу его пожеланиям, он написал открытое письмо министру Фаллу, и это стоило ему окончательной отставки. Так завершилась его карьера.

Он прожил еще четверть века, наверняка временными заработками, неустанно шлифуя свою «Теорию» и продолжая переезжать с места на место. Его глаза закрылись вскоре после установления Третьей республики.

У этого очень высоколобого человека, чье треугольное лицо при всех обстоятельствах хранило выражение сурового достоинства, гулял ветер в голове, а потому не стоит удивляться, что он отчасти передал его и своему потомству.

Как я сказал, у него было четверо детей: дочь Анриетта, о которой мне не известно ничего, и трое сыновей. А вот они-то заставили людей говорить о себе.

IV

БРАТЬЯ КРОСЫ: ХУДОЖНИК И ПОЭТ

Старший, Антуан, был тем самым блестящим студентом-медиком, который очаровал прекрасную бразильянку, дочь Манозля Одорико Мендеса, и женился на ней. Брак, вне всяких сомнений, необычный. Я еще вернусь в свое время к Антуану Кросу, моему прадеду с материнской стороны, поскольку его жизнь отнюдь не лишена интереса.

Второй сын, Анри Крос, художник и скульптор, добился известности. Своей худощавостью, бледным лицом и пушистой бородкой он, по словам современников, напоминал вельможу эпохи Возрождения, но вельможу, у которого постоянный жар. Эдмон де Гонкур описывает его как «худющего, чернявого, заросшего бородой малого с пристальным взглядом черных глаз, от которого становилось не по себе».

Тоже увлеченный античностью, он разгадал или полагал, что разгадал, древние секреты восковой живописи и египетской стеклянной массы, которые так и не захотел раскрыть. Он делал бюсты и медальоны Эредиа, Франсуа Коппе и многих других. Получал заказы от Александра Дюма. На лест-

нице дома Виктора Гюго на Вогезской площади можно видеть большой фонтан его работы из одноцветной, странно светящейся стеклянной массы. Но куда подевались большие барельефы Истории воды и Истории огня?

У Анри Кроса была мастерская в Севрской школе, приписанной к министерству изящных искусств; в ту же пору его наградили орденом Почетного легиона.

Роден сказал о нем: «В его скульптуре есть безмятежность, которая роднит ее с греческим искусством; это, полагаю, лучшая похвала, какую только можно сделать художнику. Крос — один из самых славных ваятелей XIX века». Но это было сказано на его могиле. И Роден добавил, что придало несколько иной оттенок его словам: «Он прошел незамеченным». Означает ли эта оговорка, что Анри Крос заслуживал более высокого мнения в глазах своей эпохи?

Кроме нескольких полупрозрачных масок мне от него достался только портрет маслом, который он написал со своей невестки, моей бразильской прабабушки, чьей красотой я всегда мог любоваться лишь в профиль, поскольку именно так он ее изобразил.

Младший из братьев Крос, Шарль Ортансиус Эмиль, упоминается во всех словарях. Поэт и ученый — читаем в одном; поэт и изобретатель — читаем в другом.

Хоть он и добился при жизни некоторого признания, правда, с оттенком иронии, настоящая известность пришла к нему лишь после смерти, осо-

бенно когда сюрреалисты назвали его одним из своих учителей (но я задаюсь вопросом: а так ли уж в самом деле почетно это звание?).

В любом случае, нет такого труда о литературной богеме Второй империи и начала Третьей республики, в котором ему не было бы посвящено несколько страниц. Его имя встречается в более чем ста пятидесяти работах. А в недавние времена он стал объектом кропотливых и ученых университетских исследований.

Шарль Крос появился на свет в 1842 году в Фабрезане, местечке рядом с Лаграссом, где Кросы кроме дома с красивым фасадом в стиле Людовика XIV и более старинным сводчатым тылом владели двумя виноградниками, которые назывались Белый Хутор и Узкие Ворота. Кросы традиционно приезжали туда на сбор винограда. Всегда довольно осторожный в делах, но, проходя через полосу особого безденежья, Симон вскоре продал имение, оцененное всего в два миллиона, и как раз в тот момент, когда небывалый подъем виноградарства мог бы обеспечить ему постоянный доход. В довершение несчастья нотариус-мошенник украл у него все.

Шарль Крос был тем, кого в наши дни называют вундеркиндами. Живи он в наше время, то был бы одним из тех юнцов, что дезорганизуют информационные системы или наживают состояния, проникнув в секреты биржевых механизмов.

Не учившись ни в какой другой школе, кроме нарбоннского заведения своего отца, он уже в восемь лет читал по-латыни и по-гречески; в одиннадцать овладел древнееврейским и санскритом, которые никто в его семье не знал; в четырнадцать, спря-

тавшись за колонной, слушал в Коллеж де Франс лекции по этим двум языкам; в шестнадцать, получив сразу две степени бакалавра, уже мог преподавать их.

Шарль изучал математику и музыку в особняке Ламбер на острове Сен-Луи, среди собиравшихся там польских беженцев. Способный ко всем языкам, этот «жестикюлятор», по словам современников, беспрестанно размахивавший руками при разговоре, нашел место репетитора в учебном заведении для глухонемых.

Он поступил на медицинский факультет, но не закончил его, хотя все ж таки смог помогать старшему брату Ангуану (о котором мы поговорим позже) во время свирепствовавшей в Париже эпидемии холеры 1865 года, а также приобрел некоторое знание физиологии. Он учился рисунку в мастерской своего брата Анри и хорошо рисовал. Был одарен сверх меры и хватался за все.

Его довольно короткая жизнь подчинялась какому-то чередующемуся движению. Он безостановочно перескакивал с литературы на науку, ведомый порывами души и наитием самоучки.

В двадцать пять лет, начав писать первые стихи, он представил на Всемирную выставку проект автоматического телеграфа и послал в Академию наук письмо с сообщением о «воспроизведении цветов, форм и движений», которое было вскрыто лишь пять лет спустя.

В то же время он опередил или потеснил Анатоля Франса (который никогда ему этого не простит), добившись милостей Нины Гайар — или Нины де Каллиас по мужу, называвшей себя еще Ниной де

Вийар, по собственной прихоти. Эта обворожительная маленькая смуглянка, особа довольно известная, в том числе и гостеприимством своего ложа, баловалась писательством, выдавала себя за республиканку и держала в конце Второй империи довольно шумный салон, где угасавший Парнас и рождающийся символизм соседствовали с миром искусств и полусветом.

Был ли Шарль Крос приведен к ней Верленом, с которым его познакомил брат Антуан? Там он сошелся с Франсуа Коппе и Вилье де Лиль-Аданом, местными столпами, и с Эдуаром Мане, который написал ее в «Даме с веером». Бывали там и Малларме, и Ришпен, и художник Форен, и многие другие, кого на миг озарил свет известности. Шарль Крос наверняка оказался гораздо забавнее Анатоля Франса, но Нина де Каллиас стала для него несчастьем, как и он для нее.

В 1869 году Крос, начав публиковать свои стихи, передал во Французское фотографическое общество изобретение, которое было признано за ним: «Общее решение проблемы цветной фотографии». И еще работу «О средствах сообщения с планетами». Это потому что он часто бывал у Камиля Фламариона*.

И все продолжится в том же духе.

Он представил в Академию наук «Механическую теорию восприятия мысли и реакции». Но можно ли было воспринимать всерьез человека, который, сотрудничая с «Альбомом Зюттик», входил

* Камиль Фламарион (1842–1925) — французский астроном, популяризатор астрономии, увлекался спиритуализмом. Написал массу работ, среди которых «Множественность обитаемых миров».

также в группу ночных гуляк, которые называли себя «дрянными ребятами» и устраивали свои сборища в кафе на улице Бонапарт? Ему вернули конверт с «Теорией» двумя годами позже. Его «Физиологическую батарею» и «Принципы мозговой механики» ждала не лучшая судьба. Кажется, он интересовался также синтезом драгоценных камней.

Шарль основывал литературные журналы-однодневки и публиковался во всех, что тогда процветали. Находил для финансирования своих лабораторий временных меценатов из баловавшихся наукой дворян, таких, например, как герцог де Шольн, или праздных денди, как граф де Монблан, которых заражал во время веселых пирушек своими мечтами о богатстве и славе.

Стоило его послушать, так каждому из его сочинений предстояло сделать его знаменитым. Каждому из его изобретений предстояло сделать его богачом.

Он был обаятелен, не будучи красивым, и убедительным, потому что ошеломлял. Высокий, худой, смуглый, скуластый, он носил усы по моде того времени и отличался очень черными, густыми, курчавыми волосами. У него был необычайно блестящий взгляд. В нем пылал своего рода звездный огонь. Современники находили его внешность экзотической. «Музыкант из сказки Гофмана», — пишет один из них, «Индус», — вторит ему другой. Фотографический портрет, сделанный его другом Надаром, позволяет предположить у него в роду, как и у многих других в тех краях, куда в Средние века вторгались сарацины, следы арабской крови. На самом деле он очень походил на Мольера.

Все, кто знал Шарля Кроса, называли его гением, но всегда принижая это обозначение какой-нибудь оговоркой: «неполный гений», «разбросанный гений», «незадачливый гений» или «прерывистый гений». В нем действительно была золотая нить гениальности. Но только нить. Часть этого гения растрачивалась на слова. Тут он был неиссякаем, как это часто бывает с самоучками, восхищенными тем, что открыли для себя людей, искусства, миры, и пронизанными головокружительными наитиями. Предлагаю себе его речи в духе Мальро. Чарующе, но утомительно. Он умел также волшебным образом импровизировать на фортепьяно.

Его самое известное поэтическое произведение — «Сандаловый ларец», сборник, еще отмеченный легковесными вещицами Виктора Гюго, но часто довольно близкий к Бодлеру, а своей утонченностью и словесными изысками порой предвосхищает Малларме. Вот восемь строк, которые его резюмируют:

Воспоминаний у меня так много,
Что моего рассудка не хватает.
Однако я живу лишь ими,
Они одни заставляют меня плакать
и смеяться.

Настоящее кроваво и черно;
Что мне искать в будущем?
Прохладный покой могил по вечерам!..
Я слишком спешил жить.

Однако из всего сделанного им самым знаменитым стало — и это отнюдь не пустяк — изобретение фонографа, который он назвал палеофоном, то есть голосом прошлого.

В мае 1877 года Шарль Крос отправил, опять же в Академию наук, описание принципа тех самых

аппаратов с иглой, чертящей звуковые бороздки на восковом носителе, которые мы знали и использовали до середины двадцатого века и которые современная техника лишь усовершенствовала. Конверт был вскрыт, да и то лишь потому, что Крос упорствовал, только 8 декабря того же года. Через девять дней заявку на патент подал Эдисон.

Семейная легенда, которую я слышал в детстве, утверждала, что Эдисон, прослышав об изысканиях Кроса, нарочно приехал в Париж, чтобы встретиться с ним, подпоил его, что было легко, разговорил, что также не составляло труда; и украл у него изобретение. В самом ли деле это легенда?

Ведь американский физик, уже имевший в своем активе другие открытия, давно бился над проблемой записи звука. И следы его пребывания в Лондоне в том же году свидетельствуют, что он тоже пришел к решению.

Шарль Крос собрал свой аппарат в коробке из-под сигар. И продемонстрировал его на пирушке нескольким друзьям, только что основавшим вместе с ним «Клуб гидронатов». Он пригласил их произнести над этой коробкой какое-нибудь слово. Каждый, разумеется, выбрал «словцо Камбронна»* и через миг услышал, как его повторяет слабый, гнусавый, но вполне различимый и узнаваемый его же собственный голос. Возможно, в этом участвовал Жюль Лафорг. И наверняка — будущий член Французской Академии Морис Доннэ, которому мы и обязаны этой историей.

Эдисон представил свой аппарат в Академию наук, был удостоен единодушной овации и, получив

* То есть «дерьмо» — так наполеоновский генерал Камбронн ответил при Ватерлоо на предложение сдаться.

надлежащее свидетельство, сколотил себе состояние. Честь изобретения досталась Америке.

На долю же Шарля Кроса выпало дать свое имя Академии граммпластинок, но уже много лет спустя после смерти.

Год изобретения фонографа стал также годом его разрыва с Ниной де Каллиас. Она при этом потеряла рассудок — то ли от боли, то ли от унижения — и три года спустя умерла, так и не обретя его вновь. Кросу было тридцать шесть лет, и лучшая пора его жизни миновала. Он женился, выбрав в свидетели Эдуара Мане и Теодора де Банвиля, на протестантке родом с датских Антильских островов, которая была старше его на год и, возможно, служила гувернанткой при копенгагенском дворе. Он увлек ее в свои поистрепавшиеся грезы, в свое безденежье и беспрестанные переезды. Поскольку за десять лет сменил не меньше десяти жилищ.

Единственным знаком литературного признания, которого он сподобился, была премия Французской Академии в две тысячи франков, присужденная ему по настоянию Эрнеста Легуве, пересилившего мнение постоянного секретаря Камиля Дусе. Забавное совпадение: Легуве был одним из моих предшественников по академическому креслу. На эту премию Шарль Крос, должно быть, в течение нескольких недель держал открытый стол.

Неудачи склоняли его к насмешке. Ему непременно нужно было изобрести еще что-нибудь. Он изобрел монолог — сатирический жанр, который произвел тогда фурор в кабаре и на светских вечерах. Актеру Коклену новинка принесла большую известность и немалые гонорары. Бедняга же Крос получал всего сто франков за один и тот же беско-

ично повторяемый монолог. Этот жанр — шутовской скетч, короткая, почти абсурдистская пьеска для персонажа, насмехающегося над претензиями буржуазии или нелепыми жизненными ситуациями, — получил свое продолжение в номерах сегодняшних шансонье и имитаторов, подобно тому как нынешние кафе-театры сменили кабаре того времени.

В последние годы жизни Крос каждый вечер покидал свою берлогу на улице Турнон и с отсутствующим видом, зябко кутая свою худобу в изношенное пальто, странно вышагивая в башмаках ломового извозчика, но при этом в сверкающем цилиндре, отправлялся пешком к Монмартру, чтобы сбывать в «Черной кошке» или в каком-нибудь другом кабачке «Копченую селедку» — свой первый и по-прежнему востребованный монолог, который долго составлял его единственную известность. Он поддерживал себя алкоголем, пока не падал. Дома жена прятала от него коньяк.

Он закончил афазией, потерей речи — плата за то, что жил среди крикунов, и умер в сорок шесть лет от какой-то грудной болезни или, как тогда написали, «от общей декоординации органов».

Незадолго до смерти Шарль Крос отправил в Академию наук свое последнее сообщение, привлекавшее внимание к «ошибкам в размерах деталей, видимых на планете Марс».

После него осталось долгов на десять тысяч франков. А среди бесчисленных научных черновиков — заметка, предвосхищавшая работы Эйнштейна.

Я не знаю ни более прискорбной судьбы, ни более очевидно загубленных дарований, нежели судь-

ба и дарования этого Шарля Кроса, для которого избыток способностей обернулся проклятием. Какие противоборствующие светила сошлись на небе этого человека, одержимого звездами?!

Разумеется, по мере того как вокруг его имени формировалась своего рода посмертная слава, он становился для семьи выдающимся человеком, и каждый хотел чем-нибудь, физической чертой или дарованием, походить на дядю Шарля.

Лично мне эта часть моего родового наследия всегда внушала некоторое беспокойство.

V

ПОЯВЛЕНИЕ АРТЮРА РЕМБО

На полях литературной истории мне надо записать еще один анекдот.

В 1870 году во время обстрела Парижа дом на улице Ренн, в котором обитал Шарль Крос, был частично разрушен, и он на несколько дней нашел пристанище у своего друга Верлена. Таким образом, когда этот последний в следующем году выманил из Арденн «гениального подростка» Рембо, но не знал, где его поселить, было вполне естественно, что с просьбой о приюте для своего юного протеже он обратился к Кросу.

Рембо прожил у Кроса только две недели, успев за это время изгадить квартиру грязными башмаками и выдрать из литературного обозрения стихи своего гостеприимца, чтобы воспользоваться ими самым пошлым образом. А потом в одно прекрасное утро Шарль Крос, стоявший, по счастью, перед зеркалом, увидел, как сзади подкрадывается Рембо, собираясь всадить ему между лопаток длинный кухонный нож. Тогда он попросил Верлена подыскать другое жилье этому очаровательному юноше.

Крос был незлопамятен. Случай не помешал ему участвовать в подписке, которую Верлен затеял ради «питомца муз», и питомец дважды засвидетельствовал ему свою признательность — в обстоятельствах, о которых я сейчас расскажу.

Однажды в кафе «Дохлая крыса», где они все троим пили, Рембо, якобы желая показать некий опыт, попросил Кроса и Верлена положить руки на стол, что они и сделали, сочтя это шуткой. Крос едва успел отдернуть свои, когда Рембо выхватил нож из кармана, но Верлену досталось — тот полоснул его по запястью.

В другой раз, в «Клозери де Лиля», Шарль Крос и его старший брат-медик, находившиеся там в обществе Рембо, ненадолго отошли, чтобы поговорить с друзьями за другим столом. Когда они вернулись, доктор Крос заметил, что пиво в их стаканах как-то подозрительно пенится. Оказалось, Рембо налил туда серной кислоты. Патологическая склонность к аморальным поступкам была у него врожденной и стойкой.

Быть может, мои слова многих покорабят, но я никогда особенно не ценил гений Рембо, хотя для моих сверстников он был одним из кумиров. У этого мальчишки с мимолетной музой бывали, конечно, «озарения», но он не носил в себе музыку — в его стихе мало мелодии, а еще меньше порядка в его мысли.

Думаю, что у многих поколений молодежи, всегда готовой сделать своим идиолом любую незаурядную личность, этот бунтовавший против всего и всех подросток стал так популярен не только из-

за своих стихов, но и из-за своих опасных инстинктов, скандалов, скоротечности вдохновения и кувырканый судьбы — от учителя к цирковому подручному и от грузчика к сомнительному торгашу.

Мое суровое суждение нашло поддержку у Руже Кайуа, который на протяжении нескольких лет соседствовал со мной в Академии и был полной противоположностью умов трафаретных или чопорных.

«Рембо,— писал он,— гнушался дисциплинировать свои исключительные дарования, а потому, если постараться оценить оставленные им страницы единственно с литературной точки зрения, придется признать, что в большинстве своем они кажутся откровенно неряшливыми. Хватит пальцев одной руки, чтобы перечислить полностью приемлемые вещи». И, честно признав, что своими «Озарениями» Рембо внес «оригинальный вклад» в поэзию своего времени, Кайуа добавляет: «Тем не менее отнюдь не бесспорно, что это произведение, более значительное, быть может, своими плодами, нежели достоинствами, так уж восхитительно, как это все еще утверждают. Слишком очевидно, что славу его автору принесли скорее порожденные туманностью слога недоразумения, а не манера письма, которую он тут опробовал с переменным успехом».

Педерастия Верлена дорого обошлась нашей литературе, поскольку именно с этой странной пары утвердилось глупое представление, будто великий поэт может быть только проклятым. Но что еще важнее, именно Рембо, этот юнец с несносным ха-

рактером, или, скорее, лесть, которой окружили его
весьма недолговечный талант, сбил французскую
поэзию с пути и завел ее в пустыню, которой она
стала. Литературный несчастный случай, но со смер-
тельным исходом.

VI

АНТУАН КРОС, ВРАЧ-ЛИТЕРАТОР И КОРОЛЬ АРАУКАНИИ

Доктор Антуан Крос был на семь лет старше Анри, художника, и почти на десять — Шарля. После отставки нарбоннского философа он и стал истинным вождем племени.

Старший из братьев был умен, представителен, обладал обширными познаниями, внутренним огнем и даром слова, которым отличались все члены семьи.

Вскоре после своей женитьбы на дочери бразильского Вергилия он поселился в прекрасной квартире на улице Руаяль (ныне улица Бираг), рядом с Вогезской площадью. Его салон не замедлил приобрести некоторую известность.

Он устраивал открытые вечера, где некоторые перебежчики из квартала Сен-Жермен смешивались с лучшей богемой Монпарнаса и Латинского квартала. Поэты, художники и студенты-медики вели тут нескончаемые дискуссии. Ведь всем этим людям требовалось где-то встречаться, чтобы говорить, обмениваться своими идеями, замыслами, шутками, делиться горечью или гневом, а в то буржуазное

время, когда даже войны ничего не меняли в стабильности общества, литература и изящные искусства вкупе с колониальной авантюрой были единственными путями, открытыми мечтам о славе!

Среди временных или постоянных посетителей салона Кроса были Альфонс Доде, Альбер Глатиньи, Леон Дье, Жан Экар, Викторьен Сарду, Катулл Мендес, Лоран Тайад, Жермен Нуво, Жан Мореас — все те, чьими именами полнятся антологии, но из которых лишь некоторые по-настоящему вписаны в историю литературы. Кто привел к Кросу Верлена? Может, Франсуа Коппе? Или же их встреча произошла у изголовья Матильды Моте де Флервиль, будущей г-жи Верлен на свою беду, к которой доктор Крос был призван для консультации? Ведь он любил приглашать к себе тех пациентов, которые заинтересовали его своим положением или талантом.

Но когда же Антуан Крос, этот странный врач поэтов, находил время лечить?

Конечно, он много и с восхитительной самоотверженностью работал во время эпидемии холеры, которая обрушилась на Париж в 1885 году.

Конечно, во время Коммуны он считал своим долгом быть на посту полкового хирурга.

Конечно, он был (очевидно, по рекомендации своего тестя) врачом императора донна Педру II, когда тот находился во Франции. Ему пришлось также лечить Саворньяна де Брацца.

Конечно, он публиковался в «Сентез медикаль», отчасти диссидентском журнале, который сам же основал и где некоторое место было отведено парапсихологии.

Но чем только доктор Крос не занимался помимо своего ремесла!

Он блестяще рисовал, и никто не удивлялся, встретив у него Гюстава Доре. Об опубликованном им сборнике стихов «Прекрасные часы» ничего сказать не могу, поскольку никогда не держал его в руках.

Он участвовал во всех пластических изысканиях брата Анри, во всех изобретениях брата Шарля, оказывал им помощь своими научными познаниями, искал для них финансовую поддержку или предоставлял ее сам. Все позволяет предположить, что именно ему в 1848 году пришла в голову идея записи звука.

Увлеченный философией, как и его отец, он написал пространный, изобилующий математическими формулами труд «Проблема. Новые гипотезы о предназначении человека», значительная часть которого отведена атомам и молекулам. В нем он перелопачивает сотворение мира и эволюцию видов, сооружает структуру души и, доказывая ее бессмертие, пытается осуществить синтез материализма и идеализма, разрабатывает мораль, восхваляет религии, эти «великолепные поэмы, начертанные огненными письменами в людских душах», полагает, что культ дает истинную духовную пищу: «Нужен великий культ, чтобы создать великий народ...», и утверждает наконец, что «наше предназначение в том, чтобы вечно сотрудничать с Богом в его творении мира».

Отнюдь не все это ерунда, даже если между метафизикой, наукой, логикой и поэзией тут царит некоторая путаница и даже если автор, словно пред-

чувствуя, сказал о своем собственном произведении в завершающей фразе: «Немногие прочтут этот труд. Однако написать его было моим долгом».

Лично меня больше всего поразила идея о том, что человек — сотрудник Бога, которую за много лет до прочтения книги своего предка я не раз высказывал сам, противопоставляя ее сартровскому экзистенциализму. «Человек — первый сотрудник Бога, но ни в коем случае не его заместитель». Может, по наследству передаются и мысли?

Братья Крос были бы, конечно, счастливее в другие времена, в фараоновском Египте, например, или в эпоху Возрождения при Медичи, когда человек мог быть одновременно писцом, главным придворным врачом, счетоводом, астрономом, художником, архитектором и при этом никто не обвинял его в разбросанности.

Надеюсь, что мне самому досталась весьма умеренная доля этого странного родового наследства.

Салон Антуана Кроса просуществовал до тех пор, пока его хозяин не проел сначала приданое, а потом и наследство красивой и богатой бразильянки. После чего покинул ее, устремившись к другим, менее состоятельным женщинам и к другим, менее просторным жилищам.

Леонилла де Фариа-Мендес встретила этот удар с достоинством. Смирившись с разводом, она отказалась вернуться на родину. «Я совершила ошибку и должна за нее заплатить». Она не захотела ни стать обузой для своих родных, ни, являя собой образ потерпевшей крушение, сподобиться их жалости. Ее католическая вера была тверда. Она ни в чем не изменила свою жизнь и закончила ее без суеты, с тем

немногим, что смогла спасти от расточительства мужа, в маленьком домике в Вирфле.

А Антуану Кросу, дабы достойно увенчать свое жизненное поприще (в данном случае это вполне подходящее выражение), еще предстояло ввязаться в самую невероятную и потешную авантюру: стать третьим и последним королем Араукании.

VII

ИЛЛЮЗОРНОЕ КОРОЛЕВСТВО

Из всех персонажей, побывавших в салоне Антуана Кроса или прочно там осевших, одним из самых живописных наверняка был Орели Антуан I, король Араукании и Патагонии.

Он начинал стряпчим в Перигё, был сыном мясника из Туртуарака в Дордони, но именовал себя потомком могущественных, живших «еще до римского завоевания» вождей и сменил свою фамилию «Тунем» на «де Тунен». В 1860-х годах ему взбрело в голову отправиться в Южную Америку, чтобы основать там, рядом с Огненной Землей, «новую Францию». Проведя два года в Чили, где учил испанский, а быть может, хоть немного, также язык местных индейцев, он сумел собрать нескольких касиков из не слишком покорных племен и, обильно подпоив водкой, провозгласить себя королем при их единодушном одобрении. В тот же день он обнаружил очень подробную конституцию на французском языке. После чего, отсыпаясь под деревом, был схвачен пятью чилийскими солдатами с капралом во главе. Следующие девять месяцев, едва не

угодив в лечебницу для умалишенных (что было бы совершенно оправдано, учитывая его поведение), он провел за решеткой и в конце концов вернулся во Францию.

В Париже он стал взывать к французской нации, публикуя манифест за манифестом и превратившись в мишень насмешек для газетчиков; затеял сбор средств, который чуть не довел его до суда, и написал обращение к Папе Римскому, убеждая того отменить отлучение от церкви, которому подвергся как франкмасон. После чего отправился во вторую южную экспедицию. Орели Антуан де Тунен сумел-таки достаточно заинтересовать если не правительство, то по крайней мере нескольких чиновников, чтобы ему предоставили проезд на военном корабле «Д'Антрекасто». На сей раз он двинулся через Аргентину, поскольку решил присоединить к своему «королевству» Патагонию, которую аргентинцы считали своей, то есть раздражал теперь уже не одну, а целых две страны. Преодолев практически в одиночку огромное расстояние, он снова сумел собрать нескольких касиков, назначил министров, не умевших читать, сделал их кавалерами ордена Стальной короны, который тут же и основал, после чего, заметив, что ему решительно не хватает средств, опять вернулся в Париж.

Бряцая громче, чем когда-либо, своим титулом короля Араукании и Патагонии (или «новой Франции»), подписывая обильную корреспонденцию, в которой объявлял всем и каждому, президентам и министрам об основании своего государства, и *предлагая федерацию* странам Южной Америки, он опять

стал предметом насмешек в прессе. Видели, как он рассказывает по бульварам — брадатый и львинолицый, в широкополой шляпе, черном рединготе и белых панталонах. Он учредил «совет», награждал своих друзей орденом Стальной короны и расточал им герцогства со странными названиями. Заводил он этих друзей в кабаре «Черная кошка», где подкреплялся абсентом.

Там-то, без сомнения, он и познакомился с братьями Крос, весьма склонными к фантазиям и фарсу. Вместе с ним они горделиво ходили по модным ресторанам, требуя усадить себя за «королевский стол».

Орели Антуан отправился в Лондон, где вел переговоры с каким-то английским банком о займе в пятьсот миллионов фунтов, очевидно, без успеха; потом открыл подписку, собирая средства на «Компанию по колонизации и эксплуатации», что опять было расценено как шалости с французским правосудием. Этот упрямец совершил еще две экспедиции в Аргентину, но уже с некоторым оружием и припасами.

Снова брошенный в тюрьму, потом возвращенный на родину, он дошел до полной нищеты и отправился умирать в Дордонь, в родную деревню, к своему племяннику, тоже мяснику, как и его отец. Дети смеялись над ним. Он угас в больнице, и священник, который его соборовал, пожертвовал простыню ему на саван.

Были в Антуане де Тунене одновременно бурлеск и патетика. Люди этого рода привносят — то тут, то там — чуточку веселости в Историю и отнюдь

не в последнюю очередь достойны сочувствия. Как знать, окажись у него поменьше сквозняка в голове, может, он и преуспел бы?

Прежде чем удалиться в перигорское захолустье, обнищавший Тунен назначил своим преемником некоего Ахилла Лавьярда, якобы кузена. Вероятно, тот оказал ему какую-то денежную помощь и был провозглашен принцем Аукаским и герцогом Киалеонским. Это был человек совсем другого склада, но ничуть не уступал Тунену в странности.

Ахилл Лавьярд называл себя потомком (правда, избегая уточнений) знатной ирландской семьи, эмигрировавшей во Францию при королеве Елизавете. Его отец, владевший прядильней в Реймской области и импортировавший шерсть из Аргентины, обеспечил ему вдобавок к образованию в Императорском лицее частное обучение таким различными материям, как нумизматика, геральдика, плотницкое дело, окрашивание тканей, изготовление шампанских вин, красноречие, катание на коньках, игра на рожке, верховая езда, фехтование, оккультные науки, бильярд, охотничья труба, велосипед и стрельба из пушки.

Он был довольно активным бонапартистом, настолько, что присутствовал на похоронах Наполеона III в Чизлхерсте, состоял в невероятном количестве филантропических обществ с названиями и целями столь же разнообразными, как и его собственные занятия. Он спас двух утопающих, сражался волонтером в Тунисе, раздавал в 1870 году ружья вольным стрелкам своего департамента.

Он был из тех людей, что вручают знамена духовым оркестрам, распределяют кубки и медали на сельскохозяйственных конкурсах, дарят швейные машинки нуждающимся семьям. При этом он еще немного занимался воздухоплаванием.

А заодно ставил себе в заслугу изобретательство. Разве не им был придуман способ закупорки шампанского и состав пасты для притирки паровых кранов? Все это выглядит не слишком правдоподобно, равно как и его дипломатические миссии от имени Республики Сан-Марино. Но все же он был одним из первых акционеров компании «Моэт и Шандон», а также почетным великим магистром и 97-м в ритуале «Мемфис и Мисраим» — степень, созданная для Гарибальди, чьим преемником в этой ложе он стал. Что не помешало ему быть в наилучших отношениях, по крайней мере эпистолярных, с иезуитами, францисканцами, салезианцами и несколькими прелатами Римской курии.

В его «царствование» Арауканское королевство познало в Париже свою самую скандальную пору.

Ахилл I изобрел себе адмиральский мундир. Бородка, широкая лента Стальной короны через объемистое пузо, на груди прочие ордена, которые измыслил Тунен, — в его нелепости было даже некоторое величие.

Он беспрестанно находился в движении, перемещался только в сопровождении более-менее почетных дипломатов, оперных певцов и магов. Когда он входил в ресторан, персонал тоже приветствовал его титулом «ваше величество».

Его «совет» и «свита» насчитывали более полусотни человек, включая архивариуса, герольдмей-

стера, великого духовника, исповедника, адъютанта (майора французской армии, наверняка в отставке) и начальника военной канцелярии (штабного капитана швейцарской армии). На официальных актах под его подписью красовались довольно трескучие имена, порой принадлежавшие известным семьям. Наивные или праздные находятся всегда и повсюду.

Ахилл I держал дипломатическую миссию на улице Лафайет, где с немалой помпой принимал недавно приехавших в Париж послов, когда те попадались на его удочку, как, например, посол персидского шаха.

Он учредил консульства Араукании в Лондоне и различных городах Италии. Журналисты, наверняка подкупленные, защищали «его дело» во французских и заграничных газетах.

Его длинное письмо демократу Стивену Кливленду, в котором он поздравлял его с избранием на пост президента Соединенных Штатов, могло бы фигурировать в какой-нибудь антологии фантастической литературы. «День, когда правительство Соединенных Штатов благоволит официально признать арауко-патагонскую автономию, предоставит мне место на всех американских конгрессах...» Как это прекрасно — ни в чем не сомневаться.

У Ахилла I Лавьярда были также некоторые неприятности с правосудием из-за сомнительного дела о наградах. После чего он скончался от апоплексии в 1902 году.

Через несколько недель или месяцев после его кончины в Париж прибыла делегация индейцев,

арауканских вождей, с которыми возникли некоторые языковые трудности. Они явились, чтобы воздать своему королю погребальные почести. И это доказывает, что не все было выдумкой в рассказах несчастного Тунена.

Если я несколько задержался на этих двух фигурах, выясняя забавы ради подробности их невероятной истории, то лишь потому, что наследником обоим стал Антуан Крос — под именем Антуана II. Тунен в своей безденежной щедрости сделал его герцогом Ниакательским и назначил канцлером. А по смерти Ахилла остаток «совета» решил передать ему и саму призрачную корону. Новоявленному королю было тогда шестьдесят девять лет, и он только что вновь женился.

По крайней мере, ему хватило вкуса не принимать себя слишком всерьез.

В декабре 1902 года накануне Рождества Эдуард VII, вынося третейское решение, с просьбой о котором к Сент-Джеймскому двору обратились Чили и Аргентина, определил границы раздела Араукании и Патагонии между двумя державами.

Антуан II всколыхнул волну протеста против «этой узурпации и дележа своих территорий» и воззвал «к совести всех наций». Но самыми заметными событиями его царствования были, кажется, сбор средств, затеянный его друзьями, желавшими преподнести ему шпагу, и банкет, устроенный им самим в день арауканского национального праздника в ресторане «Дрюэль», который выбрали наверняка из-за его расположения на Тронной улице. Вот так, бла-

годаря этому королевскому празднеству, пирушки «зютистов» и «дрянных ребят» достигли своего апофеоза.

Антуан Крос умер в следующий День всех святых, в своем доме в Аньере. Похороны, по рассказам того времени, были почти грандиозными. Траурную процессию возглавлял Анри Крос, художник, последний оставшийся в живых из троих братьев, и неизбежный Франсуа Коппе, который, помимо прочих более надежных титулов, был кавалером Большого креста Стальной короны. На чем Арауканская династия и пресеклась.

Этот случай из малой истории позволил Пастеру Валери-Радо, который тоже не был обделен чувством юмора, сказать, принимая меня во Французскую Академию: «Мсье, вы же сын короля».

Мифы живучи. Как в Европе, так и в Южной Америке существует довольно обильная литература, посвященная королям Араукании. Один из моих современников, Жан Распай, даже выстроил вокруг фигуры Антуана де Тунена одно из самых своих блестящих произведений — роман, получивший Большую премию Академии. Это история человека, возжелавшего стать королем, и который ради этого начал разыгрывать перед самим собой и перед другими — полунасмешливыми, полусогласными — представление королевской власти, потому что миф о короле, будь он даже фантасмагорией, один из сильнейших в мире. Довольно посмотреть, как важничает ребенок и даже взрослый, которому достался боб в куске святочного пирога, когда его увенчивают короной из золоченой бумаги!

И к тому же в то время, когда создавались колониальные империи, у Араукании с ее огромными территориями, расположенной на другом конце света и практически неизвестной, было чем возбудить мечты. Тунен сносил усталость, тюрьму и нищету ради того, чтобы в его праве мечтать о королевстве была хотя бы тень правды. Лавьярд мечтал быть королем как комичный тщеславец. А Крос продлил на несколько месяцев эту мечту с улыбкой старика, которого юность приучила подтрунивать над всем.

Но у этой истории было еще одно продолжение, непредвиденное. В мифомании отливы и приливы случаются постоянно.

Лет шестьдесят спустя после описанных событий, когда я гостил в Дордони у Андре Моруа, он предложил мне однажды прогуляться в Туртуарак на кладбище, чтобы посетить могилу Орели Ангуана де Тунена. Я увидел там новехонький памятник, воздвигнутый благодаря щедротам некоего принца Арауканского Филиппа, которого Моруа, по его словам, встретил во время торжественного освящения гробницы.

Мне стало любопытно познакомиться с этим человеком, которого местная туристическая литература окрестила претендентом на Южный трон. Полагая, что речь идет о каком-то потомке Кросов, который забавляется, продолжая миф, я вступил с ним в краткую переписку.

Обнаружилось, что это некий маклер, ни сном ни духом не имевший отношения к семье. Для подкрепления своих притязаний и «легитимности» он

располагал лишь одним документом — плодом чистой фантазии, — полученным сразу после Второй мировой войны от внука Антуана Кроса — старого, больного и разоренного человека, который занял во время оккупации не слишком достойную позицию. Согласно этой бумажке, не имевшей иной ценности, кроме развлекательной, старик уступал ему все свои права на пресловутую арауканскую корону (которыми не обладал, как, впрочем, и никто другой).

С тех пор этот безвестный малый сочинил себе за несколько лет целую династию и стал раздавать Большой крест ордена Стальной короны простакам, которых хотел привлечь к своему делу, льстя их тщеславию. Он доходил даже до того, что жаловал его главам государств и настоящим монархам, получая за это благодарности от их не слишком внимательных секретарей, что только добавляло ему веса.

Мифоман или мошенник? Наверняка и то и другое. В тот единственный раз, когда мы виделись, меня позабавило его замешательство, вызванное присутствием старшего из потомков Антуана Кроса, который, если бы в этом деле имелись хоть малейшие преемственные права, был бы истинным наследником. Лжепринц Арауканский, выдававший себя за главу рода, и понятия не имел о моем существовании! На чем мы и расстались.

Однако наша встреча не помешала ему и дальше упорствовать в своих бредовых претензиях: писать или заказывать написание брошюр для их обоснования, судиться с теми, кто оспаривал его права, раз-

давать направо и налево кресты и бляхи никем не признанных орденов, сооружать в Туртуараке очередную фальшивку — «родной» дом Антуана де Ту-
нена — и даже мелькать на телевидении, защищая права арауко-патагонцев на независимость.

Еще один, кто, желая называться принцем, жил мечтой, основанной на ветре.

VIII

ПОВОРОТ ВО ФЛАНДРИЮ

Почему первая Парка, вытягивая мою нить, пустила ее петлей через Бельгию? А главное, почему о Клото говорят, что она «вытягивает нить» человеческой жизни? Она вытягивает разрозненные волокна шерсти, то оттуда, то отсюда, согласно воле к жизни и таинственной комбинации каждого существа, перемешивает их, суча своими ловкими пальцами, и свивает в единую нить, которую передает своей сестре Лахесис, а уж та постарается сгладить узелки или укрепить тонкие места — вплоть до ножиц непреклонной Атропос.

Волокна, из которых Клото предстояло свить мою жизнь, оказались на редкость разбросанными.

У доктора Антуана Кроса и Леониллы де Фариа-Мендес (именно так она записана в книге регистрации бракосочетаний) было трое детей: Теранс, Лора и Жюльетта. Все появились на свет в их квартире на улице Руаяль.

Сын, Теранс, уже в десять лет подбиривший на фортепьяно музыку из опер, умер очень рано, едва выйдя из отрочества, от некоей болезни, названной «нервной», а быть может, просто оттого, что слиш-

ком молодым разделил богемный образ жизни своих дядьев. И слишком быстро сжег отпущенный ему запас жизненных сил.

Старшая из дочерей, Лора, была существом страстным. Она вышла замуж за журналиста, но не уберегла свой семейный очаг от потрясений. Не она ли сама, с прекрасной отвагой, решила свидетельствовать перед судом в пользу молодого человека, обвиненного в гомосексуализме, что по тогдашним законам считалось преступлением? «Он мой любовник», — осмелилась она признаться, чтобы спасти его. Естественно, муж немедленно потребовал развода.

У младшей, Жюльетты, которая станет моей бабушкой с материнской стороны, нрав был противоположный. Жюльетта обладала спокойным сердцем, которому было довольно, чтобы ею восхищались. В девичестве она, согласно канонам того времени, считалась красавицей и оставалась таковой вплоть до зрелости. «Жемчужные зубы и персиковые щечки» (следуя тогдашнему выражению), правильные и тонкие черты, горделивая осанка, округлые и пышные формы: глядясь в зеркало, она вполне могла счесть свою внешность царственной. Жюльетта рисовала и довольно мило писала красками, сочинила несколько стихотворений и была весьма музыкальна. Одним из ее больших друзей станет композитор Жюль Масне. Без сомнения, именно это увлечение музыкой привело ее в двадцатилетнем возрасте к Адольфу Самюэлю, директору Гентской консерватории.

В этом бельгийском ответвлении моей родословной он единственная приметная личность по причинам, которые я сейчас изложу.

Отпрыск старинной семьи, обосновавшейся в Льеже, он родился в 1824 году, став двенадцатым и последним ребенком владельца фарфоровой мануфактуры, предприятия процветавшего и известного.

Мальчику было всего лет пять-шесть, когда служанка матери взяла его с собой в церковь. По возвращении домой он спокойно объявил: «Мария показала мне церковь Святого Павла; там гораздо красивее, чем в синагоге».

В 1830 году его отец разорился, но не из-за революции, а из-за компаньона-вора. Он перебрался в Брюссель, где заболел и где ему восемнадцать лет спустя предстояло умереть, все еще обремененным долгами.

Заботу о семье взяли на себя старшие сын и дочь, дав возможность своему самому младшему брату учиться музыке, к которой тот проявлял большую склонность.

В одиннадцать лет Адольф Самюэль написал свою первую сонату, в девятнадцать — первую кантату, «Жанна д'Арк». Получив Римскую премию, он уехал в Италию и по пути остановился во Флоренции. Первым и единственным местом, которое он в ней посетил, оказалось палаццо Питти. И там, приблизившись к «Мадонне в кресле» Рафаэля, Адольф Самюэль вдруг застыл, оцепенев от восторга. Через мгновение его охватил внезапный жар, да такой сильный, что он с трудом добрался до своего жилья и слег в постель на целую неделю. После чего уехал в Вечный город, не сохранив о Флоренции других впечатлений, кроме того ослепительного восторга.

Карьера Адольфа Самюэля началась весьма блестяще. Он сочинил оперу, три комические оперы, несколько симфоний и более сорока кантат и мелодий. Ему было только двадцать пять лет, а его произведения уже играли в Брюссельской опере.

Он увлекся идеями той эпохи: называл себя пантеистом, либералом, гуманистом. Даже недолго принадлежал к масонской ложе.

Но вот в тридцать лет в его дневнике появляется запись: «О Иисус! Если бы я жил в Твое время, я бы оставил все, отца, мать, дом, ремесло, чтобы последовать за Тобой!»

Этого человека пронзали озарения и, подобно молнии, ударившей в ствол дерева, оставляли в душе глубокие следы.

Однако жизнь берет свое, и Адольф Самюэль становится почти официальным лицом. В тридцать пять лет он сочиняет по королевскому заказу кантату для торжественного открытия колонны Конгресса в Брюсселе. Получает крест ордена Леопольда и место преподавателя гармонии в Консерватории.

Он также напишет учебник по сольфеджио и аккомпанементу и станет членом Королевской академии.

Его другом был Берлиоз, с которым он постоянно переписывался и заказывал ему апартаменты в отеле «Сакс», когда тот приезжал в Брюссель.

Женился Адольф Самюэль на девушке родом из Кельна, и у них было четверо детей.

Но настали трудные времена, словно жизнь перестала им улыбаться. Годы пролетели, и теперь на него обрушилось бремя семейных забот: пришлось

оказывать поддержку двум сестрам-инвалидам и очень старой матери. А он еще не до конца расплатился с отцовскими долгами. К тому же его собственная супруга, женщина весьма хрупкого здоровья, вскоре превратилась чуть ли не в калеку.

Адольф Самюэль был человеком долга, совестливым и добрым, суровым к самому себе и снисходительным к другим. Он помогал всем своим нуждавшимся родным, давая уроки, уроки, уроки.

В те времена музыка вместе с акварельной живописью составляла часть образования юных девиц, и буржуазные семьи Брюсселя наперебой зазывали к себе этого молодого преподавателя. Помимо лекций в Консерватории он давал частные уроки — до четырнадцати часов в день. Нанятый на целый месяц фиакр возил его в любую погоду по домам учениц и ждал у дверей. От изнурения ему парализовало ноги, уложив на несколько месяцев в постель.

Он затеял устраивать общедоступные концерты, назначив всего десять сантимов за билет, в то время как кружка пива стоила четырнадцать, чтобы, по его словам, «отвадить рабочих от их привычки к кабакам».

Первый же организованный им концерт собрал девятьсот слушателей. Тогда ему была предоставлена субсидия, что позволило устраивать до десяти концертов за сезон, не считая ежегодного трехдневного фестиваля по образцу тех, что проводились в Кельне и Дюссельдорфе. После чего ему предложили возглавить Гентскую консерваторию, и та под его руководством стала, по мнению знатоков того времени, одной из лучших в Европе. В его жизни наступил благоприятный поворот.

Но за двадцать прошедших лет он ничего не сочинял, удовлетворяясь лишь тем, что в редкие свободные минуты вновь брался за произведения своей юности, чтобы их улучшить. Им овладела некоторая меланхолия.

И вдруг, в семьдесят лет, во время какой-то поездки, на него снизошло вдохновение: он решил написать симфонию о жизни Христа.

Это пятичастное произведение «Christus» для оркестра, органа и голосов было написано в Генте в 1894 году, потом прозвучало в Брюсселе и, согласно рецензиям того времени, было встречено бурными овациями во Франции, Германии, Англии. Оно заканчивалось великолепным, весьма волнующим гимном во славу Божию.

Обратиться в другую веру, сочиняя симфонию, — такое бывает нечасто. Год спустя Адольф Самюэль, равно как и его жена, испросили крещения у епископа Гентского.

Через четыре года Адольф Самюэль умер. Его последними словами, когда уже началась агония, были: «Теперь я понимаю конец второго периода в григорианском хорале: это утверждение нашей веры».

До меня от него дошла лишь одна блеклая фотография и еще кресло. На фотографии изображен в профиль старик за фортепьяно, прической немного напоминающий Леконта де Лиля — серебряные волосы обрамляют высокий лысый лоб, ниспадающая волнами на воротник редингота. У него очень мягкие черты лица, на носу очки в стальной оправе. Кресло — то самое, в котором он писал, красного дерева, в стиле Луи Филиппа, легкое и очень простое. Я пользовался им в студенческие годы, теперь оно стоит в комнате с моими архивами.

Что же моей воле к жизни, еще неведомой мне самому, предстояло взять у этого предка, целиком пронизанного гармонией и таившего в себе немного святости?

Я совершенно немусыкален. Музыка для меня не является необходимостью. В отличие от множества моих современников, у которых изобретение Шарля Кроса породило потребность звукового аккомпанеента во время работы, мне она скорее мешает думать. Симфонический концерт для меня испытание. Поскольку слух и зрение у меня связаны, я выделяю взглядом каждый инструмент, и, пока смотрю на него, он заглушает все остальные.

Собственно, я чувствителен только к той музыке, которая предрасполагает душу к ее важнейшим движениям: это прежде всего религиозная музыка, во всех храмах, включая азиатские, потому что она открывает доступ к чувству божественного; затем музыка военная, потому что возбуждает боевой пыл и помогает забыть о себе; наконец, музыка цыганская, потому что душераздирающе выражает боль в радости. Но там, где мне не удается четко следовать за мелодической линией, я становлюсь глух или меня охватывает крайняя скука.

Мои предпочтения весьма ограничены: композиторы XVII и начала XVIII века. Никогда не устаю от Иоганна Себастьяна Баха. У меня впечатление, что такие гармонии были доступны олимпийским богам, когда они слушали музыку сфер, вращающихся в бесконечности.

Быть может, как раз от того молодого человека, остолбеневшего перед Мадонной Рафаэля, мне и досталась уверенность, что любое искусство по сво-

ему происхождению священно и у него есть только один смысл, одна истинная задача: зрительное или звуковое отображение священного характера Вселенной.

Итак, именно в Гентской консерватории, этом храме музыки, где все вертелось вокруг ее доброжелательного и внушавшего восхищение великого жреца, в 1888 году приняли, обласкали и осыпали знаками внимания Жюльетту Крос. Она была в самом расцвете своих двадцати лет.

Один из сыновей Адольфа Самюэля, Анри, безумно в нее влюбился. В отличие от своего отца, он не имел подлинного призвания ни к чему: сначала довольно рассеянно учился на инженера, потом провел четыре года во французской армии. Но он был весел, жизнерадостен, речист, очарователен; и он очаровал. Несмотря на его невысокий рост, красавица Жюльетта поверила, что тоже влюблена, — никогда еще ею так не восторгались. Они решили пожениться, даже не представляя себе, до какой степени не подходили друг другу, и их семьи благословили столь сильную страсть.

Бракосочетание состоялось в Париже. Ради внучки Одорико Мендеса свидетелем стал посол Бразилии. Свадебное угощение подали в павильоне Людовика XIV на авеню Буа-де-Булонь: десять блюд, шесть вин. Таковы были обычаи.

Поначалу молодая пара казалась вполне обеспеченной — не знаю как, поскольку денег не было ни с той ни с другой стороны. Моя бабушка держала салон; у нее был «свой день» или, скорее, «свои дни», поскольку она принимала в первую и вторую субботу каждого месяца, в пять часов.

Ее супруг занялся изготовлением автомобильных кузовов. Это было самое начало моторных экипажей, так что его первыми клиентами стали состоятельные люди с передовыми взглядами, заказывавшие кузова согласно собственному вкусу и предназначению машин: спортивному, городскому или светскому. Производство предметов особой роскоши. Некоторые изготовители кузовов не уступали своей известностью великим кутюрье, и так продолжалось почти до периода между двумя войнами.

В этом ремесле инженер, сын выдающегося музыканта, некоторое время преуспевал, но распорядился успехом весьма плохо, будучи мотом, любителем погулять и покрасоваться. Вскоре между супругами установилось отчуждение, поскольку оба характера обнаружили свою полную противоположность: он был настолько же пылок, насколько она холодна, и настолько же склонен к фантазиям, насколько она к соблюдению приличий. Он тратил на женщин и кутежи больше, чем зарабатывал, и его дела захирели.

Устав быть обманутой и видеть, как деньги утекают к параллельным очагам, она потребовала развода, что, кажется, стало с этой стороны некоей традицией.

Думаю, когда бразильский прадед приехал умирать к своей дочери в 1907 году, чета уже распалась.

Моя бабушка сохранила воздыхателей, но никому не уступила и замуж больше не вышла.

Чтобы жить благопристойно, она стала преподавать. С возрастом друзья у нее остались только в тех домах, где ее воспоминания еще позволяли ей казаться важной персоной. Она находила немалое

удовольствие в роли женщины, пережившей большие невзгоды.

Что касается ее ветреного и расточительного супруга, то он исчез на долгие-долгие годы. О нем почти никогда не говорили, разве что вспоминая его гентскую юность, а он тем временем, отрезанный от всех, кто уже почти перестал быть его близкими, погружался в унылую старость отставного бездежного обольстителя.

У них было двое детей: сын, на которого очень надеялись, и дочь, менее желанная, родившаяся незадолго до разрыва.

Для моей бабушки само собой разумелось, что в ее сыне соединятся все таланты братьев Крос. Возвращенный на этой идее, он стал учиться изящным искусствам, но, хоть и носил широкий бархатный берет и плащ, которые были тогда униформой любого мазилы, так никогда и не сравнялся дарованием с дядей Анри. Он мог бы стать приемлемым портретистом, если бы лучше распоряжался своими способностями и меньше питался иллюзиями. А главное, благодаря своему дару имитатора мог бы стать замечательным копиистом.

Но поскольку предполагалось, что ему суждено стать новым воплощением великого человека семьи, Шарля Кроса, он увлекся изобретательством. Из всех полученных им свидетельств, которые он пытался обратить к своей выгоде, привлекая исключительно непутевых компаньонов, не вышло ничего, даже малейшей иголки для фонографа.

Дочери четы Самюэль-Крос, названной, как и ее бразильская бабушка, Леониллой, предстояло стать моей матерью.

Моя жизнь уже приближалась к своему возникновению. Когда я вглядываюсь в глубь самого себя, в свое предсуществование, в эти странные линии родословной и висящие на стенах коридоров времени портреты, где вижу столько дарований, но и столько же загубленных судеб, я непреодолимо возвращаюсь к первому и последнему вопросу: «Какую суть и какую возможность каждый из нас обязан проявить?»»

IX

НА ДРУГОМ КРАЮ ЕВРОПЫ: ЗАБЫТАЯ ИМПЕРИЯ

У меня было два отца: один по крови, ушедший из жизни раньше, чем я смог запечатлеть в памяти его черты, и другой, приемный, которому я обязан всем — я хочу сказать, всем, чего первый, кроме доли своих генов, не дал мне, да и не мог дать.

Желая разобраться с предками природного отца, чтобы отыскать и распутать двойную нить своей преджизни, мне придется перешагнуть через континент и отправиться на восточные границы Европы.

Еще одна долгая и извилистая история.

Он был отдаленного хазарского происхождения, этот Антон Леск, осевший около 1875 года на берегах реки Урал.

Но для начала, кто такие хазары?

Совершенно забыто, что с VII по X век существовала огромная империя, простиравшаяся от Кавказа до нынешней Казани, то есть до московских широт, охватывая низовья Волги и Дона, — обширная торговая теократия, богатству которой не было ничего равного в мире. Когда говорят о легендарных «золотых веках» Хазарии, это не просто образ.

История хазар началась давно. Они были тюркского или гуннского происхождения и сыграли важную роль в Армении, которую постоянно оспаривали друг у друга римляне и персы. Их территория была главным путем сообщения между Востоком и Западом, через нее проходил всякий транзит от Каспийского моря к Черному. Само Каспийское море называли тогда Хазарским.

Хазары становились союзниками то персов, то византийцев, но были разгромлены Атиллой, и Хазарию получил в удел его старший сын. Внезапное появление Атилы оказалось лишь началом чудовищной анархии. Гунны, татары, тюрки, авары, уйгуры: многочисленные орды нахлынули в эти пространства, пересекали их, откатывались обратно или оседали. Хазары, подобно венецианцам, укrywшимся в своей лагуне, и по тем же причинам, нашли убежище в топях семидесяти устьй Волги.

Но в VII веке они вновь появляются, набрав силу, покоряют болгар и вынуждают тех откочевать в сторону Дуная; подчиняют себе славян-земледельцев, захватывают Крым, контролируют весь товарооборот между Азией и Европой. Их власть простирается вплоть до Балтики.

Снова став союзниками византийцев, они предоставляют Гераклиусу войско в сорок тысяч всадников. Вновь появляются в Армении и останавливают на Кавказе мусульманское продвижение.

В то время варяги, которым вместе с Рюриковичами предстояло заложить основу будущей русской державы, еще не спустились южнее Новгорода.

Первоначальной религией хазар был политеизм. Возможно, у них, как и у башкир, было двенадцать

богов, или *духов*: один для зимы, один для лета, один для дождя, один для ветра, один для людей, один для лошадей. Дух неба был самым могущественным.

Срок правления царей-жрецов — великих ханов, или каганов, — был ограничен сорока годами. Облагая пошлиной все товары, перевозимые по их территории, несколько великих ханов, прекрасных администраторов и воинов, привели хазарский народ к зениту его могущества. Хазария, защищенная огромными крепостями, стала главным рынком воска и меда, мехов и кож, предметов первой необходимости. Хазары предоставляли свое покровительство и «благожелательность» всем разноплеменным купцам.

Однако вокруг средиземноморского бассейна продолжалось шириться движение к монотеизму. Раньше христианских миссионеров в Хазарию прибыли раввины — вместе с изгнанными из Константинополя евреями, которые нашли тут радушный приют и выгодные занятия.

Хазары хотели сохранить свою обособленность от большого соседа, Византии. В 740 году в качестве официальной религии хазарская династия выбрала иудаизм, по причинам чисто политическим, чтобы духовно сплотить различные народности, населявшие их империю. Те же самые причины два века спустя побудили великого князя киевского Владимира призвать к себе епископа римского культа, епископа из Константинополя, несторианина, раввина и имама, чтобы осведомиться о различных формах монотеизма и сделать выбор (наверняка решенный заранее) в пользу византийского цезаропапизма.

Таким образом, в середине VIII века Хазария стала теократией еврейского ритуала. Но этот иудаизм обладал совершенной терпимостью к религиям всех, кто участвовал в процветании страны, и был вполне расположен к смешанным бракам. Пример подавался сверху.

Разве не стала дочь одного хана, союзного Константину Копрониму, императрицей Востока, а ее сын Лев IV по прозвищу Хазар не занимал пять лет византийский престол?

Хотя хазарские войска, которые считались одними из лучших в ту эпоху, и разбили в бою знаменитого Симеона Болгарина, сопротивляться растущему могуществу славян не смогли. Как не смогли и помешать киевским князьям, которых принятие православия вскоре сблизит с Византией, перерезать их торговые пути. «Не платите больше ничего хазарам», — провозгласил Святослав, отец Владимира.

Однако империя ханов сама ничего не производила. Она извлекала свои богатства лишь из коммерческого транзита. Это и стало причиной ее упадка.

В тот год, когда на Западе Гуго Капет провозгласил себя королем Франции, Хазария стала вассальным княжеством Киева, а в 1046 году исчезла окончательно.

Россия основана на руинах хазарской империи. Даже название «Киев» — хазарское и означает «берег реки».

Если я пересказываю тут вкратце историю этой забытой империи, которая обязана своим возвращением к памяти «Тринадцатому колену» Артура Кестлера, то не только потому, что она поражает во-

ображение, но и потому, что вынуждает нас иначе, нежели обычно, взглянуть на евреев Восточной Европы. Выкованный против них термин «антисемитизм» — чистейшая нелепость. В Хазарии было очень мало семитской крови.

Никогда сколь угодно плодovitая диаспора не произвела бы такого многочисленного потомства. Она осталась бы в тех же пропорциях, что были в Тунисе, Марокко, Андалусии или в долине Роны у *сефардов*, но никогда не смогла бы без хазарского приключения достичь пяти-шести миллионов, которые в России XIX века еще насчитывали *евреи-ашкенази*.

Царские правительства, словно в их национальном подсознании обитала какая-то атавистическая навязчивая идея по отношению к этим былым властителям, беспрестанно выталкивали их к границам. Через восемьсот лет после падения последних хазарских ханов евреям, за исключением тех, кто стал «купцами первой гильдии», разрешалось проживать только в западных областях, от Балтики до Черного моря: Литва, Польша, Украина, откуда они на протяжении многих поколений утекали подобно очень медленной реке, к странам надежды — Германии, Австрии, Франции.

Да и Сталин велел депортировать в Сибирь всех советских историков, осмелившихся поднимать тему хазар. Ему была нестерпима мысль, что Россия хоть чем-то обязана иудаизму.

Два нрава сформировались у российских евреев. Некоторым века гетто, нищеты, насмешек, презрения, погромов в конце концов придали этот почти карикатурный образ еврея в мягкой шляпе и

долгополом черном сюртуке, с длинными пейсами, согнутой спиной и понурыми плечами, замкнувшегося в своей требовательной и педантичной религиозности, единственном оправдании его несчастья. Не имея возможности укорениться в земле, они укоренялись в Книге.

Но рядом существовал и другой нрав, унаследованный от легендарной Хазарии и все еще не иссякший в жилах с сильной кровью,— нрав еврея-степняка, организатора, путешественника и воина, который ворочает богатством, строит собственное могущество и весьма мало заботится о делах религии, кроме разве соблюдения нескольких традиций.

Именно эти правнучатые племянники хазар сделали в Европе поразительные карьеры и сколотили состояния. И именно они вопреки всем обстоятельствам создали государство Израиль.

Х

КАРАВАН-САРАЙ НА УРАЛЕ

Итак, Антон Леск происходил от хазар. На немногих дошедших до меня фотографиях он и его братья красуются в белых каракулевых шапках и просторных полосатых шелковых халатах, какие любили носить народы Центральной Азии. Их туркменские лица перечеркнуты большими усами — такое же своеобразное лицо было у Жозефа Кесселя, их внука и внучатого племянника: грубовато, но красиво вырезанное, сильное в молодые годы и осунувшееся к старости, с которым он изъездил весь свет.

Антон Леск родился около 1850 года в Вильно, в той приграничной литовской области, куда царское правительство, как я сказал, пыталось вытолкнуть евреев. Но он рано уехал из Вильно. Немного занимался журналистикой, немного изучал агрономию, потом отправился на Восток, чтобы быстро разбогатеть, возделывая крупные земельные угодья в Поволжье, в Самарской губернии, которая в то время еще была военным форпостом для сдерживания степных кочевников. Поскольку евреям было запрещено лично владеть землей, ему пришлось

прибегнуть к подставным лицам, которые наполовину разорили его — но только наполовину. Он сумел спасти от своих сельскохозяйственных доходов достаточно, чтобы основать еще восточнее, на реке Урал, в Оренбурге, торговое предприятие, которое вскоре стало процветающим.

Я узнал Бразилию лишь на седьмом десятке, приехав туда как в паломничество к колыбели своих самых западных предков. И мне было уже восемьдесят три, когда представился случай осуществить еще одну давнюю мечту — ступить ногой на другую сторону планеты, на землю, давшую мне вторую половину моей крови.

И путешествие, и прием, да еще в возрасте, когда таких радостей уже не ждут, стали одним из самых прекрасных моментов моей жизни!

Меня отвез в Оренбург сам Виктор Черномырдин, бывший премьер-министр посткоммунистической России и основатель гигантского комплекса «Газпром», влиятельнейший человек в том регионе.

Мне предшествовала репутация, которой я по милости судьбы обязан тому, что наибольшее количество моих зарубежных читателей сосредоточено в России. Я подсчитал, что, если сложить все вышедшие там официальные и пиратские издания «Проклятых королей», получится больше двадцати трех миллионов томов. Практически без выплаты авторских гонораров, но это уже неважно! Во времена всеобщего дефицита требовалось сдать пятнадцать кило старой бумаги, газет или книг, чтобы получить талон, дававший право купить один том моих произведений. Некоторые удачи вынуждают к нескром-

ности. Не было в дорогой мне России такого дома, предприятия, учреждения, даже магазинчика, где, когда я туда входил, мне не протянули бы на подпись томик, часто затрепанный, одного из моих романов; а когда я проезжал в машине, случалось, что постовые отдавали мне честь.

Оренбург принял меня как своего сына, вернувшегося на родину. Нас с женой засыпали подарками, в основном тонкими как паутина шальями дивного узора, которые с незабываемым и уникальным мастерством делают тамошние женщины.

Приемы следовали один за другим, до шести в день, и всегда с накрытым столом. Традиция требует, чтобы каждый из сотрапезников говорил тост в честь гостя, а тот всякий раз должен отвечать. Шесть человек — шесть тостов; девять человек — девять тостов; к счастью, оренбургская водка одна из лучших в мире, благодаря чистоте местной воды. Наверняка лишь атавизм позволил мне выдержать этот режим. Вечера заканчивались довольно поздно, почти ночью, импровизированным концертом народных песен. Я рискую вызвать ехидство читателя, осмелившись привести слова, которыми мои гостеприимцы резюмировали это путешествие: «Пушкин пробыл в Оренбурге два дня, Толстой тоже два; Дрюона хватило на три». Хотя я сам видел и читал это!

Оренбург был основан в первой трети XVIII века для сдерживания киргизов. Своего рода южная столица, одновременно военная и торговая. Она показала свою необходимость, героически выстояв во время восстания Пугачева, лжецаря, который тщет-

но осаждал ее в 1743–1744 гг. Расположен город на реке Урал, не очень широкой, но волнующей, потому что она — граница между двумя континентами. Ее кристально прозрачные воды текут вдоль береговых лесов. Тут кончается Европа. На другом берегу начинается Азия.

Оренбург сохранил улицы с красивыми деревянными домами, окна которых украшены резьбой и блистают яркими красками (они по-прежнему обитаемы), а также несколько красивых неоклассических зданий XIX века. Сейчас в нем более полумиллиона жителей, а во времена моего прадеда Леска их было всего шестьдесят тысяч. Тогда здесь возвышалось двенадцать православных церквей, одна католическая, протестантский храм, четыре мечети, синагога.

Имелись в Оренбурге и театр, общественный сад, несколько средних школ, казармы, арсенал. Со своим старинным гостиным двором, одновременно крепостью и складом, он был самым значительным городом в этой части России, воскресившим, в каком-то смысле, хазарские века. Каждый год сюда прибывало более ста караванов из Бухары, Хивы, Ташкента и прочих мест. Случались даже купцы из Индии и Китая.

Торговое предприятие Антона Леска было похоже на большой западный магазин и одновременно на караван-сарай, поскольку караванщики — киргизы, афганцы, монголы — доставляли сюда медленной поступью своих запыленных верблюдов все, что производил Восток: кожи, шерсть, ягнячьи шкурки, шелка, чеканную медь, пряности, серебряные изделия и драгоценные камни; на других пол-

ках громоздились сельскохозяйственные орудия, домашняя утварь, европейские ткани, свечи, семена, сахар. Было здесь также все, чем могли угодить потребностям и желаниям покупателя Франция, Германия, Богемия, Италия: оружие, драгоценности, одежда, фортепьяно и люстры.

Думаю, это отчасти напоминало большие торговые склады на Кипре во времена Лузиньянов или помещения нижних, выходящих на канал этажей в венецианских дворцах, когда Светлейшая республика повелевала всей коммерцией на Средиземном море.

Активность Антона Леска простиралась вплоть до Ташкента и Самарканда, где он открыл филиалы, поставив управляющими своих братьев, племянников или кузенов. Он стал купцом *первой гильдии*, то есть вошел в класс богачей, чей ранг был закреплен в царской иерархии и кого мелкий люд подобострастно величал «ваше благородие». Их бобровыми шубами, шумными ночами у цыган и горстями рублей, раздаваемых направо и налево, наполнены русские романы. Если бы этот человек уехал на Запад и основал банк в Вене, он закончил бы бароном Священной империи.

В архивах Оренбурга сохранились планы и изображения большого дома, который Антон Леск построил на углу Инженерной и Дворянской улиц. Будучи меценатом, он открыл музыкальную школу и собирал в своем салоне местную или заезжую *интеллигенцию*, увлеченную новыми идеями.

Леск был весьма равнодушен к своей религии, если не атеист, и придерживался либеральных взглядов, то есть склонялся к нереволюционному соци-

ализму. Его дети, включая дочерей, учились в государственной гимназии, а сыновей он к тому же отправил довершать образование в Германию. Знойным летом он забирал родственников, друзей и целую толпу слуг на просторную дачу, которую построил на другом берегу реки, в Азии.

От его второй дочери, Раисы, я и унаследовал степную кровь.

У Раисы Антоновны, или Раисантонны, как ее сокращенно называли, в юности было совершенно «иконное» лицо. И это благородство черт она сохраняла вплоть до пожилого возраста, когда я с ней познакомился.

Хоть ей и не достался от отца дар обогащения, по крайней мере, своим решительным характером она пошла в него.

Она отлично училась в гимназии, где девушки были редки, особенно такие, кто, подобно ей, решил изучать латынь. В ней проснулась страсть к театру. Но у кого тогда в России, где любительские труппы расцветали повсюду, не было страсти к театру? В этом гнетущем, окостенелом обществе, в лишенной событий провинции с ее нескончаемой зимой, куда долетали лишь отголоски какого-нибудь бунта или покушения, сцена была единственной иллюзией свободы. Жить другими жизнями... Но чтобы по-настоящему стать актрисой, как она желала? Перспектива ничуть не нравилась семье.

Тогда Раиса занялась изучением фармацевтики. Почему? Потому что закон разрешал фармацевтам, даже евреям, селиться в любом городе империи. Таким образом, она смогла бы поехать в Москву или Санкт-Петербург и там попытать удачи на сцене.

Несчастливая любовь, о которой она никогда не распространялась, а также появившиеся трудности заставили ее отказаться от своей мечты. Она повернула к медицине, решив отправиться на помощь первым сионистским колониям, которые барон Эдмон де Ротшильд основал в Палестине. Она вовсе не была пылко верующей, к самопожертвованию ее наверняка толкали отроческие разочарования. Ей хотелось незаурядной жизни. И она ее получила.

Запасшись шубами, коврами, самоваром и столовым серебром, как это было в обычае у путешествовавших русских, Раиса в двадцать один год отправилась в Женеву, чтобы получить диплом. Там она познакомилась с миром русских эмигрантов, по большей части представителей политической оппозиции или попросту социалистов-революционеров, и особенно сошлась с самым известным, их духовным наставником, критиком Плехановым. Тот считался первым теоретиком марксизма, но осуждал терроризм и во всем был противником Ленина.

Молодая Раиса с неудовольствием узнала, что швейцарский диплом врача в Палестине не признается и что ей нужен французский. Вновь собрав свое снаряжение славянской путешественницы, она отправилась в Монпелье и записалась на медицинский факультет тамошнего университета. Где познакомилась с другим корреспондентом Плеханова, тоже студентом из России, с которым ей и предстояло связать свою жизнь.

Студент Самуэль Кессель был родом из Литвы, как и Лески, но принадлежал к совсем другому кругу. Ничего общего с купцами первой гильдии. Его

уделом при рождении были нищета, страх и грязь. Бедный *кошерный* трактир в гетто, на улице крохотного местечка. Мать, приземистая толстая женщина, властная, ограниченная, суеверно-религиозная и беспрестанно жестикулировавшая, не мыслила для своих детей другой учебы, нежели монотонное чтение в раввинской школе; стоило ей заметить русскую книгу в их руках, она тут же вырывала ее и бросала в огонь, как писание дьявола. Отец... Отец обладал более открытым умом, но был сыном и внуком раввинов. Тех самых евреев с понуро опущенными плечами. Хотя их предки наверняка не распинали Христа, этот грех служил для русского мистицизма поводом к жестокости и преследованиям.

У маленького Самуэля и его братьев были скуластые калмыцкие лица с узкими, глубоко посаженными глазами и короткие, тяжелые, неуклюжие тела. Опять хазары.

После убийства царя Александра II и последовавших за ним свирепых погромов все мужчины этой семьи эмигрировали. Отец с одним из сыновей подался в Южную Африку, оставив в задымленном трактире толстую набожную женщину, не внушавшую ни любви, ни нежности.

Мечтой маленького Самуэля Кесселя была Франция. Каким образом запала она ему в сердце? Благодаря подслушанному разговору, прочитанной исподтишка книге или предопределению? Франция, идеальная Франция, синоним свободы, счастья, просвещения, стала предметом всех его желаний и надежд. Самуэль учился тайком, с помощью маленьких товарищей из зажиточной буржуазии гетто: они одалживали ему учебники, которые он тщательно прятал, или пересказывали то, что узнали в классе.

Хотя в десять лет его единственными языками были только идиш и раввинский иврит, в двенадцать он настолько хорошо овладел русским, что давал уроки начинающим. Два года спустя Самуэль уже изучал, по-прежнему тайком, латынь и греческий. Такие лингвистические способности не могут не напомнить одаренность юного Шарля Кроса.

Не получив никакого регулярного образования, Самуэль в семнадцать лет поехал в Псков, чтобы получить аттестат, и сдал все экзамены за гимназический курс, но в аттестате ему, как еврею, было отказано. Тогда, имея в кармане лишь несколько рублей, он отправился в Ковно, где нашел место частного учителя. Это было лишь самое начало путешествия. Ибо он решил, что станет врачом во Франции. Но, чтобы поехать в эту идеальную Францию и учиться там, требовалось знать французский. Он выучил его самостоятельно, читая «Тружеников моря»: словарь с одной стороны книги, грамматика — с другой. И в девятнадцать лет, с сорока франками всех своих сбережений, приехал в Париж в тот самый год, когда умер Виктор Гюго.

А дальше — два года мелким клерком у адвоката за убогое жалованье, но которое позволило ему записаться на лекции медицинского факультета; две зимы в ледяной камерке, где он питался буквально хлебом и водой. Если бы его сослали в Сибирь, ему и то не пришлось бы хуже.

В результате он начал харкать кровью. Чахотка, туберкулез; выжить ему удалось только благодаря своим калмыцким генам. Но его здоровье было подорвано навсегда.

О нем рассказали, превознося его успехи в университете, барону Хиршу, этому родившемуся

и Мюнхене филантропу, который через Брюссель перебрался в Париж и сколотил себе огромное состояние, строя турецкие железные дороги. Предоставленные бароном средства позволили студенту из Ковно поехать в Монпелье, чтобы вылечиться или умереть. Самуэль Кессель провел там четыре года, по большей части в больнице, но продолжал учебу на факультете и готовил диссертацию по психиатрии.

Он играл в шахматы с Полем Валери и продолжал переписываться с Плехановым.

Тут приехала византийская красавица, от которой он как-то получил несколько писем с просьбой сообщить ей некоторые сведения о жизни и учебе в Монпелье. Преувеличенно стыдливая и сдержанная, что делало ее не слишком-то пригодной для театра, она обратила мало внимания на этого довольно некрасивого молодого человека, который в ее глазах был начисто лишен привлекательности. И заметила его, лишь увидев у постели больной подруги, а заинтересовалась, когда с ним случился рецидив кровохарканья. Тогда она сама стала ухаживать за молодым врачом, а потом и вышла за него замуж. Раиса Антоновна нашла свое призвание: суровая самоотверженность.

XI

ПЛАНЕТА ПО ДИАГОНАЛИ

Обрученные отправились из Монпелье в Оренбург, чтобы пожениться. Девять тысяч километров. Способность русских XIX века пересекать Европу взад-вперед, проводя множество дней в поездах, которые плевались сажей, но казались им верхом скорости и комфорта, в наших глазах поразительна. Сколько вокзалов, мельком увиденных в клубах дыма, под скрежет тормозов и пыхтение машины! С такой легкостью пускаться в долгие путешествия наверняка в характере народов, живущих на огромных пространствах. Отправиться с одного конца континента на другой было для русских так же естественно, как для американцев пересекать Атлантику.

Свадьбу сыграли не без пышности. Новобрачной было двадцать три года, супругу — двадцать девять. Богатый купец Антон Леск с симпатией принял этого незнакомого, немного неуклюжего зятя, которого привезла ему дочь. Он судил о нем по его лучшим качествам — уму, прилежанию, упорству. И решил обеспечить молодую чету. Но Раиса Анто-

новна отказалась от приданого, которое хотел дать за ней отец. Непримируемая гордость, чрезмерная забота о своем достоинстве? А может, ее заразили революционные идеи: она вышла замуж за бедняка и оба станут жить своим трудом, всем обязанные лишь самим себе.

Тут доктору Кесселю от барона Хирша приходит письмо с предложением стать первым врачом еврейской колонии, которую филантроп основал в Аргентине, на Рио де ла Плата. Самуэль Кессель был должником барона Хирша, так как лишь благодаря его поддержке смог продолжить учебу, а потому считал себя морально обязанным откликнуться на это предложение, хотя работа над диссертацией «Навязчивые состояния и побуждения» не слишком подготовила его к тому, чтобы стать врачом в пампе.

И вот новобрачные отправляются на другой край света, на новую землю испытаний, чьи бескрайние просторы населены только гаучо да редкими колонистами.

Врач уезжал в старенькой двуколке к рассеянным по пампе больным, а дочь купца первой гильдии целыми днями ждала его, одна в хибарке, начисто лишенной каких-либо удобств, посреди полупустыни, где дикость гаучо вынуждала ее постоянно держать под рукой заряженный револьвер. Подобие Дикого Запада, *Дикий Юг*, по которому гуляли смерчи тропических бурь.

Вот там-то, скорее всего в ближайшем поселке, Раиса Антоновна и произвела на свет своего первого сына Жозефа Эли, по-русски Иосифа Илью.

У доктора Кесселя был совершенно особый дар забывать бумаги и терять паспорта. Он забыл даже сообщить в местную мэрию о рождении ребенка. Об этом вспомнили только через неделю с лишком, так что Жозеф Кессель на всю жизнь остался с документом, укравшим у него целых десять дней.

Легенда о Геракле гласит, что в первые дни младенчества к нему в колыбель заползла змея. В детской коляске, в которой Раисантонна вывозила своего малыша на прогулку, обнаружили громадного скорпиона. Жизнь Жозефа Кесселя часто будет перекликаться с мифом о Геракле, как в подвигах и буйствах, так и в слабостях.

Через три года, когда истек срок обязательств доктора перед колонией Хирша, молодая семья уехала обратно в Россию. Раиса снова была беременна, уже на двух третях срока. Плавание через океан, высадка в Генуе, откуда морем до Марсея, а потом поезд — Париж, Берлин, Варшава, Москва и, наконец, Оренбург.

Таким образом, не прожив на свете еще и пятнадцати месяцев, Жозеф Кессель, которого судьба сделает одним из величайших путешественников века, уже объехал половину земного шара. Но в каком состоянии он прибыл! Отнятие от груди он перенес плохо, а из-за дурной корабельной пищи и москитов чуть не умер, превратившись в крохотный скелетик без взгляда и без голоса — образ самого отчаяния, который несла на руках измученная мать.

Его оживили молоко ослицы и степной воздух. Но, поскольку трагедии, казалось, сопровождали

его повсюду, он вскоре чуть не погиб при пожаре, уничтожившем половину азиатской дачи. Дети обширного семейства Лесков играли у кургана какого-то киргизского вождя, погребенного там вместе со своим конем. «Это притягивает несчастье!» — сказала им служанка. Через три дня дом запылал.

Из-за происшествия у Раисы Антоновны преждевременно начались роды, и 29 мая 1899 года, за несколько дней до срока, она произвела на свет второго сына, которого в память об одном из дедов называли Лазарем.

Таким образом, мой отец, которого я не знал, родился на земле Азии, на следующий день после пожара.

Пребывание в Оренбурге длилось три года, в течение которых Раиса Антоновна и двое ее детей наслаждались семейным достатком, в то время как Самуэль Кессель чаще всего отсутствовал, поскольку в тридцать пять лет решил получить на медицинском факультете диплом русского врача, который, впрочем, так и не получил. Он снова заболел, на этот раз сердцем, и чета опять уехала во Францию — Францию вечной надежды, обещавшей спокойствие и счастье.

Раиса Антоновна взяла с собой только первого ребенка, оставив второго на попечении семьи. Эта женщина странно себя вела. На самом деле она любила только своего старшего сына, причем исключительной и всепоглощающей материнской страстью, и эта страсть, это восторженное обожание первого рожденного ею существа с годами превратится

в бесконечную снисходительность ко всем излишествам и выходкам ее любимого Иосифа и ко всем драмам, которые он будет сеять на ее пути.

Отказавшись от проживания в Париже, где подъем по лестницам вызывал у него кровохарканье, доктор Кессель купил за гроши кабинет провинциального доктора. Для того, кто вынес врачебную практику в пампе, в Аженэ не было ничего ужасного. Но что могло быть необычнее, чем эта русская чета с ребенком в кафтане и меховой шапке, поселившаяся в Ла Капель-Бирон, департамент Ло и Гаронна! Что могло быть парадоксальнее, чем этот больной грудью врач, отправлявшийся в двуколке с высоким верхом и запряженной мохноногой лошадкой аускультировать гасконских крестьян?

И все же два года в Ла Капель-Бирон были счастливым временем. Маленький Кессель (Иосиф для своих родителей, Жозеф в коммунальной школе, куда был записан) через несколько месяцев стал говорить и писать по-французски так же хорошо, как и по-русски. А в четыре с половиной года в совершенстве владел обоими языками. Отец учил его родной речи по Пушкину, а школьный учитель награждал за прекрасное чтение наизусть басен Лафонтена.

К ним присоединился второй сынишка, Лазарь, которого в семье называли Лелей. Сказать, что он ехал, прячась в юбках своей бабушки, отнюдь не будет метафорой. Евлентии Леск, каждый год ездившей на воды в Германию, при переезде границы действительно пришлось прятать внука под одеждой,

поскольку она попросту забыла вписать его в свой паспорт.

Кесселям, как и Лескам, не сиделось на месте. Один русский друг, бывший товарищ по учебе в нищие годы, предложил уступить однокашнику свою клиентуру близ Парижа, и вот доктор Кессель покидает Ло и Гаронну, чтобы обосноваться в Монлери.

Еще один городок, еще одна школа и еще один ребенок. Третий сын, Григорий (или Жорж), родился в тени знаменитой мрачной башни, отмечавшей границу королевского домена во времена первых Капетингов.

Туда-то и нагрянули по случаю своего ежегодного лечения в Германии родители Раисы с их щедрыми руками, в сопровождении оренбургских дядюшек и тетюшек.

Чем был вызван визит этого богатого племени? Жалостью к благопристойной бедности, в которой жили Кессели? Или тревогой за состояние их здоровья? Вдобавок к больным легким и чересчур сильно бившемуся сердцу у доктора Кесселя начала развиваться глаукома, а Раиса страдала от приступов малярийной лихорадки. Их охватила ностальгия по России. И в следующем году они поехали обратно на Урал. Казалось, их странствиями управлял некий двухгодичный ритм.

И снова Оренбург, богатый дом, кишевший слугами и няньками, и азиатская дача с бескрайними горизонтами.

Три года волшебства, для детей во всяком случае.

За долгие годы, проведенные с Жозефом Кесселем, я часто слышал, как он перебирает эти детские воспоминания. Он так охотно воскрешал их в своих произведениях, а его биографы так много на них ссылались, что мне кажется, будто я слегка повторяюсь.

Сколько раз на каком-нибудь повороте наших бесед вдруг всплывали навсегда врезавшиеся в его раннюю память образы этого наполовину православного, наполовину мусульманского города с золотыми луковицами церквей и великолепными минаретами! Караваны из Узбекистана и Афганистана, верблюды с их равномерной поступью, диковинные товары, низкорослые татарские лошадки, мужики в валенках, церковное пение, пьяные драки...

Кессель всегда вспоминал Оренбург как город волшебства и чуда. Там он слушал сказки старой Руси, легендарные рассказы о Ермаке и Стеньке Разине, великих казачьих атаманах. Часть его таланта — оттуда, как и его склонность к безмерности.

Принятый в частную гимназию, Иосиф носил форму русских школяров с плоской фуражкой и поясом. Он проявил неплохие способности, овладевая русским и французским.

А доктор Кессель получил наконец свой диплом русского врача. Но где практиковать? В Ташкенте, Самарканде, посреди Центральной Азии, где Лески управляли филиалами большого оренбургского магазина? С его более чем слабым здоровьем, с малярией жены и сердечной слабостью, которая обнаружилась у их последнего новорожденного, Григория Жоржа, это было весьма рискованно. К тому

же волнения 1905 года в Санкт-Петербурге всколыхнули по всей империи волну репрессий. Над всеми, кто был близок к социалистам, нависла угроза.

И тогда Кессели опять отправились во Францию, в свою любимую Францию, убежище души.

ХII

ДВА РУССКО-ФРАНЦУЗСКИХ ПОДРОСТКА

Среди подлинных недугов четы Кесселей была и маниакальная склонность к перемене мест, толкавшая этих хронически больных людей беспрепятственно искать другой климат, более благоприятный для их слабого, но цепкого здоровья. К тому же стоило этим добровольным изгнанникам отдалиться от своей родины, как у них возникала потребность вновь обрести русское общество.

Ницца как нельзя лучше соответствовала этому двойному запросу. С середины XIX века высшая петербургская и московская знать вместе со всем, что сопровождает сезонные передвижения богачей, проводила зимы в тепле Средиземноморья. Как императрица Евгения ввела в моду Биарриц, так императрица Александра Федоровна одновременно с ней ввела в моду Ниццу, и с тех пор там образовалась настоящая славянская колония, процветавшая в 1900-х годах. Ее символом стали несколько золотых луковиц, возвышающихся над розовой черепицей ниццских крыш. Английская набережная с таким же успехом могла бы называться Русской.

Кессели прожили там пять лет, время, в течение которого старшие сыновья получали начальное образование в лицее Массена, а младший, у которого, как считалось, от рождения было слабое сердце, с очаровательной беззаботностью, ставшей главной чертой его характера, лишь поигрывал своими каштановыми кудрями.

В этом городе роскоши и легкомыслия Раиса Кессель отдалась своей страсти — бережливости, хотя щедрость Антона Леска, который так же настойчиво стремился давать, как она отказываться, вполне обеспечила бы семье безбедное существование. Но Раиса согласилась лишь на минимальную помощь от отца, предполагая жить на средства от тощей клиентуры (которую еще предстояло заново приобрести) своего мужа-инвалида. Она чуть не до сантима высчитывала малейший домашний расход и чинила заношенную до дыр одежду. Наверняка выглядеть в собственных глазах богиней лишений было для нее возмещением за погубленную судьбу. Не став ни актрисой, о чем мечтала, ни политической героиней, она утешалась, создавая условия для самоотречения, позволявшие ей восхищаться собой.

Она восхищалась собой и в своем старшем сыне Жозефе, который получал в лицее все награды. Этот ребенок жаждал учиться всему, чтобы все узнать, и проявлял явные способности к литературе. Он развивался как маленький колосс, и его энергия была через край. Был ли его младший брат, следовавший за ним как тень и в учебе, и в школьных проделках, менее одарен? Похоже, что нет, но мать это ничуть не заботило. Ее сердце по-прежнему цели-

ком занимал первенец, ему одному и доставались вся нежность и снисходительность, на которые была способна эта суровая натура.

В лицее Массена Жозефу Кесселю повезло: целых три года, вплоть до экзамена на степень бакалавра, у него был совершенно незаурядный преподаватель классической литературы — Юбер Моран, который пробудил его ум и заставил осознать свое литературное призвание. Все или почти все подростки, если читают, хотят и писать. Отчасти это подражательное. Отсюда до настоящего писательства еще огромное расстояние. Нужны выдающийся дар и тот, кто будет его направлять.

Кессель впоследствии никогда не упоминал никакого другого учителя, кроме Юбера Морана, и само это имя сохранилось только благодаря его ученику, который, достигнув славы, всегда воздавал ему дань своей благодарности.

Не Моран ли посоветовал, чтобы старший из братьев Кесселей прошел лицейский курс философии в Париже? Во всяком случае, это стало поводом к очередному переезду.

Семья перебралась в ближайший парижский пригород, в Бур-ла-Рен, где была маленькая русская колония.

Ко второму экзамену на бакалавра Жозефу Кесселю предстояло готовиться в лицее Людовика Великого, а Лазаря записали в лицей Лаканаль, в Со.

Как чудесна жизненная сила юности, способная помимо многочасовой учебы проглатывать целые библиотеки, посещать музеи и исторические памят-

ники да еще выкраивать время, обманывая свое нетерпение жить, чтобы пускаться в затеи, к которым ее поощряет снисходительное внимание взрослых!

Страсть к театру, обуревавшая в отрочестве их мать, проявилась и у обоих братьев. В свои шестнадцать и соответственно пятнадцать лет «Кессель-старший и Кессель-младший» (как были Коклен-старший и Коклен-младший) основали театральную труппу, набрав в нее нескольких товарищей из своих лицеев. В труппе выделялся почти гигантским ростом еще один будущий писатель, сын первого председателя Счетной палаты Реймон Пейель, который приобретет известность под псевдонимом Филипп Эриа.

Удивительным было то, что эти актеры, чьим усам еще только предстояло вырасти, выступали с пьесами Куртелина и Франсуа Коппе на общественных сценах. Мэры рабочих предместий оказывали им хороший прием, поскольку представления были бесплатными.

Эти игры закончились 4 августа 1914 года. Разразилась война. Опасаясь, как бы не повторилось вторжение 1870 года, Раиса Антоновна перебралась обратно в Ниццу, забрав с собой больного мужа и свое нетерпеливое потомство.

Жозеф хотел сразу пойти добровольцем, но ему было всего шестнадцать с половиной лет. Желая служить, как-нибудь приобщиться к героизму, он стал помощником санитаря в военном госпитале, недавно расположившемся в гостинице на город-

ских холмах. И за ним, как всегда, последовал, словно тень, брат Лазарь.

Разорванная плоть, гной или черви в открытых ранах, ампутации, жар, смрад гангрены, крики, хрип и бред, запавшие глаза агонизирующих, их пальцы, долго, отчаянно, тщетно цепляющиеся на краю смерти за чью-нибудь сочувственную руку... Хотя этот госпиталь был далеко от фронта и в него доставляли только транспортабельных раненых, здесь все, описанное Толстым в «Севастопольских рассказах», было ужасающе зримым и осязаемым.

Суровое испытание для двух влюбленных в поэзию и театр подростков. Стойкость старшего, его склонность к героизму и вера в собственную неуязвимость, которая уже уравнивала в нем вполне оправданный ужас, позволили ему совершить это чудовищное путешествие без ущерба для себя. Он участвовал в эпопее.

Но вряд ли то же самое можно сказать и о Лазаре, более юном и хрупком по натуре. Он был воспитан вне всякой религии, и тем самым его подсолнечное знание лишилось малейшей защиты от главных вопросов, которые возникают в этом возрасте при виде смерти. Никто, и в первую очередь он сам, не подозревал, что вместе с ним госпиталь Ниццы получил еще одного раненого, чья рана таилась где-то в глубинах души.

В 1915 году семейство Кесселей опять в Париже, в более чем скромной квартирке на улице Риволи, но не на улице Риволи прекрасных аркад и красивых апартаментов между площадью Согласия и Па-

ле-Руаялем, а на улице Риволи старых кварталов и старинных серых домов, давших приют мелким ремесленникам и мелким судьбам.

Тут была уже не бережливость, а настоящая нужда. Война пресекла перемещение русских денег, и помощь, которую Раисантонна, несмотря на свою уязвленную гордость, принимала от отца в силу необходимости, перестала поступать. Впрочем, щедрому Антону Леску предстояло умереть той весной, а его сыновья ничуть не были расположены делить со своей далекой сестрой отцовское наследство, на котором история в любом случае скоро поставит крест. Прощай, уральское богатство!

Сам такой же больной, как и его больные, тоже бедняки по большей части, доктор Кессель получал крайне малый доход от своей практики. Он был добр, он был терпелив, и жизнь после Литвы научила его удовлетворяться малым.

Совсем другим был характер у его детей, особенно у старшего. Наделенный в свои семнадцать лет потрясающей жаждой жизни, Жозеф Кессель грезил о славе, власти, приключениях, деньгах, роскоши и позже охотно признавался, что прочувствовал этот период семейной нищеты как болезнь.

Но против общества он не бунтовал. Ему, как это часто бывает, хотелось лишь выкроить себе там место, что он и сделал, используя свои дарования и выносливость.

Как раз тогда он с восторгом прочитал «Братьев Карамазовых» и извлек оттуда идею, которая надолго станет его девизом: «Все дозволено». Со всеми ее губительными последствиями.

В необычайно короткий срок он подготовил свой лицензиат по филологии и в то же время возобновил вместе с братом Лазарем театральные представления, восполняя самоуверенностью недостаток мастерства.

Из-за войны Париж лишился всех способных носить оружие мужчин. На парижских подмостках подвизались лишь старые заслуженные комедианты, игравшие роль молодого Родриго, да юнцы-любители, на которых при необходимости напяливали камзол его отца, дона Диго.

Таким образом, двум драматургам-новичкам удалось (ценой каких хлопот и усилий!) поставить у Андре Антуана, основателя «Вольного театра», патриотически-благотворительный спектакль. Поддержку им оказали несколько прославленных мастеров декламации, оставивших свое имя в анналах «Комеди Франсез», таких как Поль Моне и де Макс, а руководил мероприятием математик Поль Пенлеве, депутат и будущий глава правительства.

Обстоятельства, а также снисходительность, с которой относятся к юности, если она горяча, обеспечили этому представлению благожелательный триумф. Старые прорицатели, хоть и не заметившие у старшего из братьев Кесселей зачаток литературного таланта, все же рассмотрели в младшем исключительное актерское дарование. Андре Антуан заговорил о призвании, а знаменитый и высокопарный де Макс, трагик румынского происхождения, вызвался давать молодому человеку уроки драматического искусства. В тот день к ним заглянула сама судьба.

Чуть позже Жозеф Кессель по рекомендации Юбера Морана, своего преподавателя из Ниццы, поступил в «Журналь де Деба». Старая фирма, а лучше сказать, учреждение, просуществовавшее более века. Там все еще пользовались столом, за которым сидели Шатобриан, Мериме, Ипполит Тен; а некоторые старые редакторы в своих тесных кабинетах еще писали гусиным пером. Для этой газеты, которую читали в основном политические, дипломатические и финансовые круги, влияние было важнее информации. Она считалась разумно реакционной, без излишеств — газетой серьезных талантов и солидных состояний.

Ее владельцем был граф де Налеш, рослый элегантный клубмен, разъезжавший в коляске с ливрейным кучером и лоснящимися лошадьми. Ему принадлежал весьма красивый частный особняк на углу улиц Ваню и Шаналей, где некогда плели свои интриги дамы Директории. Г-жа де Налеш жила там довольно укромно, хотя и опасливо.

Когда из-за нескольких немецких снарядов, упавших в квартале Сен-Жермен, автобусный маршрут пустили через улицу Ваню, она вынудила службу надзора за путями сообщения положить на мостовую слой соломы, чтобы тяжелые машины ездили потише и, не дай бог, не сотрясали ее особняк. Так протекала жизнь всего в двухстах километрах от тех мест, где бесконечная война косила, как траву, целое поколение французов.

Когда сорок лет спустя, будучи другом племянниц и наследниц графини де Налеш, я посетил особняк на улице Шаналей, прежде чем его купил гре-

ческий судовладелец, мне бросились в глаза обшитые позументом шторы, все еще красовавшиеся на своем исконном месте и удивительно свежие, хотя их велела повесить еще мадам Тальен.

Этьен де Налеш был бы изрядно удивлен (хотя ничуть не шокирован, его это скорее позабавило бы), узнав, что длинноволосый молодой человек, который делал у него первые шаги в журналистике, комментируя новости из России и публикуя рассказы, тоже навеянные этой страной, нанят фигурантом в «Одеоне», где каждый вечер выходит на сцену то алебардщиком, то санкюлотом, то старым имперским гвардейцем, выделяясь, правда, лишь высоким ростом, крепким сложением и особой неуклюжестью.

Доктора Кесселя это удручало. Ни журналистика, ни лицедейство не были в его глазах достойным поприщем. Ему, приехавшему из такого далека и с таким трудом, ценой собственного здоровья получившему свои дипломы, виделся лишь один путь для столь одаренного юноши: получение ученой степени и преподавание. Сын профессор стал бы наградой и честью для его измученного сердца и пошатнувшейся жизни. Но отец был слишком слаб, слишком устал, чтобы бороться с бурными амбициями, обуявшими обоих братьев.

Осенью 1916-го, в год Вердена, они вместе участвовали во вступительном конкурсе Консерватории драматического искусства, учреждения, которое открывало большие возможности, потому что являлось прихожей «Комеди Франсез».

Жозеф, прошедший без особого блеска, выбрал себе псевдоним д'Урек (офранцуженное русское

слово *дурак*), заключив пари с отцом, который не верил, что он на это решится.

Лазарь, удостоившийся единодушных поздравлений жюри, придумал себе в память о Сибири, где увидел свет, псевдоним *Сибер*.

Под этим именем он и познал мимолетную известность.

ХШ

ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП

В Консерватории драматического искусства, этом необычном учебном заведении, где учат ремеслу иллюзии и профессии бреда, завершилось мое *посюстороннее* и соединились две нити моей жизни, одна с бразильского экватора, другая из русской степи, поскольку именно тут встретились мои родители.

Я назвал актерство ремеслом иллюзии, потому что лицедеи, окруженные картонными замками и марлевыми лесами, должны на несколько часов убедить публику в подлинном существовании вымышленных персонажей, столь же нереальных, как бархат и дерюга, тафта и кружева, в которые они вырядились. А профессией бреда — потому что те, кто ею занимается, обречены никогда не быть самими собой, а изображать то королей, то мятежников, то обывателей, то нищих, то трусов, то героев и, беспрестанно перелезая из одной шкуры в другую, надевать плоть, голосом и жестами чужие страсти или нелепые характеры, падать замертво, сумев не пораниться при падении, и тотчас же вскакивать, принимая желанные аплодисменты.

Неудивительно, что столько комедиантов, сойдя со сцены, все еще играют роль, бросая на ветер приказы или отдавая на поживу прохожим свою любовь. Постоянно быть двойником того, кто не существует, не обходится без риска.

Меня часто спрашивали, не испытывал ли я в юности искушения стать актером. Даже мысль об этом никогда меня не касалась. Никогда бы я не смог изображать кого-то другого, кроме себя самого, и произносить написанные другими слова. Атавизм тут совсем не проявился.

Призвание двух породивших меня существ было лишь тем обстоятельством, которое их соединило, последним поворотом божественного гончарного круга.

Я сказал, что братья Кессели попали в Консерваторию из-за своей страсти к театру, охватившей их еще в детстве, особенно младшего.

Моя мать уже была там. И прошла вступительный конкурс с некоторым блеском. Знаменитый Муне-Сюлли даже назвал ее «одержимой». В самом деле, внучка бразильской поэзии, лангедокского сумасбродства и фламандской музыки и впрямь была одержима страстью к собственной персоне и видела в трагедии лишь средство стать романтической и блистательной героиней, о чем мечтала.

Однако ее семья, считавшая себя буржуазной, хотя ничуть таковой не была, тоже косо смотрела на театральные подмостки как на занятие малопочтенное, и единственным приемлемым для нее путем была Консерватория, поскольку оттуда, как правило, попадали в «Комеди Франсез».

Детство моей матери не было счастливым. С одной стороны — отсутствие отца, с другой — материнская нелюбовь.

Чтобы избежать существования, казавшегося ей заурядным, она рано вышла замуж, за рисовальщика Роже Вильда, отнюдь не лишенного таланта. Тот был сыном швейцарца, но из-за какой-то неведомой мне драмы оказался брошенным на улицах Парижа. В десять лет его приютили в публичном доме, где он оказывал мелкие услуги и бегал за покупками для дам, которые его баловали. Там он и вырос, оттуда и поступил в академию рисования. Моя мать быстро заметила, что с ним ее надежды на прекрасное будущее вряд ли осуществляются.

Когда началась Великая война, он ушел добровольцем, чувствуя, как и каждый здоровый мужчина, что обязан это сделать.

Моя мать умерла почти в столетнем возрасте. Разбирая оставшуюся после нее грудку бумаг, прежде чем предать огню большую часть, я обнаружил связку писем 1915–1916 годов, которые он отправлял ей с фронта почти каждый день.

Я вскрыл наугад некоторые из этих плаксивых и отчаянно однообразных посланий. Писавший жаловался на все: на дождь, на скуку, на мелкие недомогания. Надо остерегаться оставлять после себя ничтожные письма.

Вскоре они стали отдаляться друг от друга и после моего рождения порвали окончательно. Хотя она ездила к нему в часть раз или два, и не без трудностей.

Я виделся с первым мужем моей матери лишь раз в жизни, почти полвека спустя. Он делал с ме-

ня карандашный портрет для какого-то литературного еженедельника по случаю моего избрания в Академию. Странный тет-а-тет. Мне пришлось в течение часа позировать уже пожилому человеку, чью фамилию я носил несколько месяцев и которому поручили запечатлеть черты того, кто мог бы быть его собственным сыном. Делая вид, будто ничего не знаем, мы называли друг друга «мсье» и придерживались банальностей.

В 1987 году я узнал из газет о его смерти в девяносто три года. Согласно траурному извещению, со второй семьей ему повезло больше.

Моя мать была невысокая, худощавая, живая, очень темноволосая и пылкая — это читалось в ее глазах. Она хотела пробуждать страсти и была жадной до похвал и знаков почитания. Ей нравилось блистать. Нравилось, увенчав себя белой эгреткой, разъезжать на заднем сиденье открытой машины с черным шофером, предоставленной капотным предприятием ее отца.

Проведя свои молодые годы довольно бурно, она впоследствии старалась представить дело так, будто они были пронизаны одной лишь великой трагической любовью, плодом которой я и стал. Мне никогда не приходило в голову порицать ее за это; я упрекаю ее лишь за утаивание и еще за то, что она, желая придать себе великолепия в моих глазах, рядилась в образ скромности, который отнюдь не был правдивым. Ничто и никогда не остается скрытым, завеса тайны в конце концов падает. Сопоставляются факты, выплывают наружу свидетели былых времен, сообщая вам неизвестное так, будто оно об-

щеизвестно. Идеальный образ превращается в нагромождение лжи, и от него остается лишь пепел...

Консерватория вовсе не была школой добродетели, а война, как и все войны, раскрепостила нравы. В шестидесяти лье от Парижа смерть каждый месяц косила десятки тысяч молодых людей. И тем, кто возвращался на побывку, и тем, кто уходил на фронт, все казалось дозволенным. Узы благомыслящей морали трещали по швам. Когда вокруг творилось столько ужасов, людям требовалось чем-то опьянить себя.

Вращаясь не только в театральном кругу, моя мать часто посещала также монпарнасские кафе, где встречались художники и литераторы — будущие знаменитости. Почему она рассказывала мне так мало?

За ней ухаживали скульптор Задкин и эстет Андре Жермен, сын основателя «Лионского кредита». Оказалась она и на пути молодого американского поэта Алана Сигера, который вскоре погиб на фронте, написав стихотворение, вошедшее во все антологии: «I have a rendez-vous with death».

Я обнаружил два любопытных и трогательных письма, отправленных в одном конверте: одно от Пикассо, другое от Аполлинера, который, узнав, что она больна, беспокоился за ее здоровье. Она нравилась.

Была у нее связь (если можно назвать связью то, что не связывает) и со старшим из братьев Кесселей, тем, кто меньше годился для сцены, но зато имел внешность и силу молодого буйвола. Моя мать была старше его на пять лет. Если она воображала, что они смогли бы стать парой в жизни, значит, в очередной раз ошиблась, к чему уже привыкла. Впрочем,

он скоро ушел, едва достигнув возраста, годного для армии и авиации, где, как известно, вел себя достойно. Быть может, она упрекала его за то, что он предпочел ей войну и Францию.

Никогда, даже узнав, что мне все известно, она не упоминала мне об этом эпизоде своей жизни. Впрочем, я впервые услышал о нем лишь на седьмом десятке. Да и Жозеф Кессель, даже в то время, когда мы были очень близки, когда делили зарю и ночь, опасности и тяготы изгнания, когда вечера с обильной выпивкой располагали к самым откровенным признаниям, ни разу не обмолвился об этом и намеком. Просто вздыхал, когда произносилось имя моей матери. Но такие вздохи хранят память о женщинах, умеющих создавать драмы.

Свою пылкую душу она обратила к другому Кесселю — Сиберу, который был младше брата на год, а главное, гораздо более хрупок.

XIV

САМОУБИЙСТВО РЮИ БЛАСА

Кем же был этот подросток, так и не ставший отцом ни для моих чувств, ни для памяти и называть которого этим словом мне всегда было трудно и непривычно, даже если на язык не подворачивалось никакого другого?

Говоря о нем, я использовал его театральный псевдоним, *Сибер*, что лишь добавляло ему нереальности, или же обозначал, да и сейчас обозначаю, как-нибудь иносказательно. Нелегко называть то, чего нет.

Лазарю Кесселю было семнадцать лет, когда началась его связь с моей матерью, и двадцать один, когда он убил себя. Меж тем и другим мелькнул я — как перебегают, торопясь, через опасную дорогу.

Все его однокашники по лицу или Консерватории, с которыми я встречался за свою жизнь, описывали его в одной и той же лирической манере. Он оставил у них впечатление исключительной красоты в ореоле юношеской славы; казалось, он нес в себе искру гениальности.

Таким мне его описывали Филипп Эриа и Марсель Ашар. Историк Пьер де Лакретель, старший

брат академика и мой драгоценный сотрудник под конец своей жизни, встретил Сибера в день его самоубийства, недолго поговорил с ним, нашел, что у него немного потерянный вид, но ничего не заподозрил.

На нескольких сохранившихся фотографиях изображен молодой человек с действительно красивым лицом и бесконечно печальным взглядом. Но только та, где он снят на смертном ложе, по-настоящему совпадает с воспоминаниями его друзей. Профиль совершенной лепки, мраморная шея в распахнутом вороте белой сорочки: это романтический герой из иллюстраций к «Вертеру» или «Ночам» де Мюссе; это абсолютный Гамлет при опускании занавеса. «The rest is silence...»*

Фото попало мне на глаза почти шестьдесят лет спустя, в пачке бумаг, которую я получил по смерти Жозефа Кесселя, словно он назначал меня хранителем этих хрупких обломков.

Банальные архивы отрочества: школьные тетрадки, несколько черновиков — стихов или трагедий в подражание Гюго; несколько глав романа без названия, начала и конца; также несколько карандашных набросков, в которых чувствуется неплохая рука; два письма с каникул последнему преподавателю французского с перечислением того, что читает. Восторгается «Красным и черным» Стендаля, Мопассаном, называет посредственной «Жестокую загадку» Поля Бурже.

А также жалуется на отца, который требовал от него получить степень бакалавра до поступления в Консерваторию. Они с братом отшагали три ки-

* «Дальше — тишина...» (англ.)

лометра, чтобы рукоплескать своему кумиру, трагик-Полю Муне, который выступал в Довиле, и весь обратный путь вдоль пляжа декламировали стихи.

Несколько торопливых записей на листках в клеточку, вырванных из классных тетрадей, свидетельствуют о какой-то смуте в душе.

То он говорит, что у него чувство, будто сходит с ума, и решает потребовать от отца, чтобы тот забрал его из лицея и поместил в сумасшедший дом, потому что его преследуют навязчивые идеи насчет реальности внешнего мира. То объявляет, что через восемь дней его уже не будет в этом мире. Хочет выкрасть револьвер из тумбочки родителей и застрелиться в какой-нибудь улочке, или рядом с железной дорогой, или в полях. Но что станет с его «я»? Он рассматривает все возможности потустороннего. «Окажется ли это миром других представлений? Больше ли там страданий или меньше? Или же это полное уничтожение, как утверждают материалисты? Или ад и рай верующих?» А потом, недоумевая, кой черт дернул его писать все эти «бредни», заявляет: «Может, я и не убью себя в ближайшее воскресенье». Ему было, наверное, шестнадцать лет. Но какой же мало-мальски мыслящий подросток не проходил через период метафизических сомнений? Или же в этом ускользнувшем от времени свидетельстве надо видеть настоящую предрасположенность к самоубийству?

В 1917 году он еще подписывает свой ангажемент у Режан как «Л. Кессель» — маленькая роль в пьесе «Госпожа Бесцеремонность», восемь франков за вечер. Сибер продержался там только три года, пока учился драматическому искусству.

В Консерватории его упрекали за недостаток усердия, но он закончил ее с первой наградой по драме и комедии, сыграв сцену из «Рюи Бласа» и удостоившись аплодисментов жюри (во главе с академиком Марселем Прево), которому вообще-то аплодировать не полагалось.

Театр, театральные события значили тогда гораздо больше, чем сегодня; они оправдывали даже существование особой ежедневной газеты «Комедия». Пресса уделила большое внимание этому триумфу. Администратор «Комеди Франсез» немедленно ангажировал молодого Сибера, которому предстояло дебютировать в «Одеоне». Пресловутый де Макс, принц актеров-кривляк, даже сказал ему (вполне театрально): «После тебя я уже никогда не смогу играть Гамлета!» Можно ли вообразить себе более прекрасное начало карьеры?

Два месяца спустя в маленькой гостинице Латинского квартала он пустил себе пулю в сердце.

Газеты снова предоставили ему свои колонки. Для всех этот конец казался необъяснимым. Одни сообщали, что за несколько часов до самоубийства молодой актер позаимствовал у друга двести франков и купил себе револьвер. Другие, морализаторы, во всем винили неврастению, в которой молодежь погрязла после войны, и писали даже, что эта смерть стала дурным примером. Очень консервативная «Журналь де деба» доброго г-на де Налеша опубликовала весьма достойную статью, сопроводив ее соболезнованиями, тоже весьма достойными. Но наилучший заголовок дала, конечно, «Юманите»: «Самоубийство Рюи Бласа». А дальше — снова тишина.

Моя мать, разумеется, нашла в этой драме повод возвысить свою трагическую роль — безутешной жертвы великой разбитой страсти. И возложила вину на семью Кесселей: на старшего брата, не оказавшего поддержки младшему, и на родителей, которые были к ней так холодны, что довели своего сына до отчаяния. Она решила забыть, что эта возвышенная любовь уже подходила к концу, что любовник не жил с ней уже несколько месяцев и не хранил никакой верности. Его смерть подарила ей рану, которая долгие, очень долгие годы возвеличивала ее судьбу.

Посюстороннее порой подает нам странные знаки. Помню, как после поражения 1940 года я встретил у друзей в Аженэ одну очень красивую женщину, сбежавшую из Парижа, — едва сорока лет, стройную и очень обаятельную. Прекрасные черты, прекрасный, чуть глуховатый голос, что лишь добавляло ей очарования; благородство в манере держать себя и никакого жеманства. Она была русского происхождения.

Во время долгой прогулки, которую мы совершили на природе, самым естественным образом согласовывая наш шаг, она дала мне понять, сдержанно, почти намеками, что была не то любовницей, не то невестой красавца Сибера, то ли до, то ли после его отдаления от моей матери.

Из ее слов можно было заключить, что они намеревались пожениться. В любом случае, она хранила в сердце светлое воспоминание и боль от разбитой надежды. Глядя на меня, говоря со мной, она воскрешала прошлое.

Я никогда больше не видел эту женщину; но она тронула меня за душу, и я никогда ее не забывал.

У каждого своя правда...

Кессели, в свою очередь, считали, что именно моя мать сыграла тут роковую роль, и, быть может, не совсем ошибались.

Всякое самоубийство ставит перед живыми вопросы столь же мучительные, сколь и напрасные.

Разумеется, на протяжении всего моего детства от меня скрывали, каким образом умер этот родитель, у которого было только имя. Мне говорили, что его унесла эпидемия испанского гриппа. Но моя мать слишком долго тянула с этой тайной. Рано или поздно она бы все равно открылась. Когда правда настигла меня — случайно, внезапно, а как именно, еще расскажу, — мне было около восемнадцати лет. Не лучший возраст, чтобы узнать, что передавший вам жизнь положил конец своей собственной.

Это оставило в моей душе рану, которую излечила только война, то есть непосредственная опасность смерти. Но тогда я был уже старше, чем тот, кто меня породил.

Характер, как и тело, вырабатывает свои средства защиты. И люди, влачащие, словно свой крест, мало для кого тайное самоубийство отца или матери, склонны тут, думаю, к некоторой снисходительности, поскольку видят в нем оправдание своих ошибок или неудач.

Но сколько неразрешимых вопросов я задал себе в эти несколько лет! Зачем было убивать себя на пороге славы? Из-за уверенности, что уже ничто и никогда не будет столь же прекрасным, или не желая, чтобы стало хуже? Из-за какого потрясения появилась трещина в хрустале?

Предсмертная записка, которую оставил этот романтический герой, не дает никакого ответа.

Странное послание, всего в одну страничку, адресованное «Тем, кто меня любит, если они действительно меня любят, а *не считают, будто любят*» и написанное не обычным его почерком, а необычайно непохожим, словно кто-то другой, проникнув в него, водил его рукой.

«Когда вы узнаете, ничуть не печальтесь. Поскольку эти последние минуты — *первые минуты моей жизни*, когда я познал наконец успокоение и счастье, глубокие, огромные и абсолютные. Поверьте, эти несколько мгновений совершенной радости и безопасности стоят, в своей краткости, целой жизни, если это жизнь беспрестанно терзаемого страхами, распинаемого каждым миготом мученика нервов. Так что — ни слезинки. Но радость, великая, полная и бесконечная радость возносит меня сейчас, подобно широкой волне... Это тем, кто любит меня ради меня, а не ради самих себя».

И он подписался снова: «Лазарь».

Такая экзальтация, такой восторг перед смертью разверзает бездны для мысли. Он умер не от отчаяния, не от упоения славой... Просто был «хороший день, чтобы умереть...». Это была смерть человека, спешившего покончить со страхом жить, а стало быть, и страхом умереть... В патологии это называется «тревожный раптус»*.

Без сомнения, этот сраженный Гамлет всегда был обречен «*not to be*»**.

* Раптус — приступ неистового возбуждения, импульсивный порыв в депрессии.

** «Не быть» (англ.).

Ничто не указывает на то, что мое недавнее и хрупкое существование занимало какое-либо место в его мыслях или имело там какой-либо вес. Ни одно свидетельство, ни одно написанное слово, ни одна реликвия не позволили мне заметить, было ли оно ему в радость или в тягость и было ли вообще хоть чем-то, кроме сожаления, в его финальном жесте. Собственно, я остался за пределами этой короткой судьбы, начертанной неким внутренним роком.

И вместо отца передо мной оказывается генетическая абстракция.

Но ведь должно же какое-нибудь очевидное сходство во внешности или в характере развеять это впечатление?

Что ж, пойду дальше. По-настоящему я внешне не похож ни на кого из тех, через кого пришел в этот мир.

Конечно, какая-нибудь линия, выражение лица при определенном освещении или в определенном возрасте... Но никто никогда не мог твердо сказать обо мне (если только не желал угодить кому-нибудь из моей родни): «Он вылитый портрет своей матери, бабушки, такого-то дяди...»

Помню, как меня позабавило, когда именитые граждане Сан-Луиса ду Мараньяна, всерьез сравнив мой профиль с профилем бразильского Вергилия, украшающего их площадь, заключили: «У вас его нос». У всех также два уха.

Еще больше я забавляюсь, вспоминая, как в детстве поражал многих гостей своим сходством с генералом в мундире Второй империи, чей портрет висел в гостиной; это был дед... моего приемного отца!

Думаю, что таким же образом оригинальны и мои недостатки, и мои достоинства. Те, кто меня знал,

простят мне мои недостатки, прикинув, какими они могли бы стать, доставшись от такой череды мечтателей, забияк, чудаков и ветреников, собранных со всего света, и оценят борьбу, которую я вел с отходами их генов, чтобы стать тем, кто я есть.

Статистически говоря, не было никакой вероятности, чтобы я пришел в этот мир, и никакой причины, чтобы столь разбросанные гены объединились и составили меня. Таинственная и предшествующая всему воля к бытию. Если это данная нам частица Бога, то был ли я достоин ее?

Тогда станет понятно, почему у меня часто возникало чувство, будто я сам себе родитель. Я никому не наследую.

Книга вторая
Я НЕ ЛЮБИЛ ДЕТСТВО



I

ЮПИТЕР В НЕБЕСНОЙ ГЛУБИНЕ

Я родился под грохот пушки в первые часы 23 апреля 1918 года.

В ту ночь, как и в предыдущие, немцы обстреливали Париж из огромного артиллерийского орудия дальностью более ста километров, которое называли «Большая Берта». Они смогли доставить его так близко после своего мощного наступления на Уазе и теперь надеялись деморализовать столицу.

До тех пор пока Фердинанд Фош, поставленный во главе всех союзных армий, не отодвинул линию фронта, выпущенные наугад снаряды каждую ночь разрушали несколько домов и десятки жертв доставлялись в госпитали или в морги.

В клинике, когда мать рожала меня, всех способных передвигаться больных переправили в укрытие. Но спустить туда роженицу оказалось, видимо, не так-то просто, и ее оставили на этаже.

Так что свой первый глоток воздуха я сделал под глухой гром войны.

Не потому ли мне всегда казалось, что война самым естественным образом написана человечеству

на роду, что она его неизбежная реальность? Я всегда ждал, что она вот-вот где-нибудь произойдет, и это, впрочем, не замедляло случиться.

Конечно, можно и должно желать исчезновения вооруженных конфликтов: это благочестивое пожелание. Блаженны пацифисты; но не стоит полагаться на них, чтобы отвратить или сдержать войны.

23 апреля — день рождения Шекспира, а также его смерти, и еще в этот день и в том же году умер Сервантес. Такое соседство в эфемеридах несколько тяжеловато.

Хотя мое первое имя, крестильное, забыли вписать в свидетельство о рождении, что позже вынудило меня к неоднократным исправлениям актов гражданского состояния, зато время появления на свет — 3 часа 15 минут утра — было, похоже, отмечено точно.

Известно, что древние, составляя гороскоп новорожденного, брали за точку отсчета миг его первого крика, считая это первым проявлением жизни. В самом деле, на восточном горизонте небесные аспекты меняются каждые четыре минуты.

Моя астрологическая карта, составленная согласно этому утреннему часу, не противоречит чертам моего характера и главным событиям моей жизни.

Рационалисты презирают астрологию или насмеваются над ней, потому что очень древнее происхождение этой науки, которая почиталась таковой до XVII века, не поддается историческому изучению, а ее методы интерпретации не совпадают с нашими схемами, основанными на опыте. Углубленные статистические исследования не только в индивидуальной, но и в мировой астрологии (ко-

торых до настоящего времени не было) могли бы вернуть серьезное отношение к ней, основываясь просто на результатах.

Астрологию не следует путать с ясновидением, магией или оккультизмом, тоже мало исследованными. С «предсказанием будущего» у нее нет ничего общего; если остеречься шарлатанов, подорвавших уважение к ней, то это система определения тенденций каждого человека, а также благоприятных или неблагоприятных периодов его жизни, которая еще может сослужить нам службу не меньше, чем людям древности. Мне самому она была полезна неоднократно, и я рассчитываю, что дальше у меня еще будет случай объясниться.

В момент моего рождения Солнце входило в знак Тельца; на востоке восходило созвездие Водолея, а в небесной глубине* царил Юпитер.

Астрология и мифология неразрывно связаны; они две грани одной и той же космогонии. И для той и для другой Юпитер — олицетворение власти, авторитета во всех его проявлениях, порядка вещей, гостеприимства, дружбы, дипломатии. В словесных искусствах он руководит скорее романом, чем драматургией, которая находится в ведении Солнца. Юпитер управляет семьями и династиями, определяет их историю, истинную или фиктивную.

Так что небо моего рождения поддерживал Юпитер; я всегда тянулся к нему и почитал. Посещал его храмы во время своих путешествий. На какие только капитолии я не поднимался! У меня дома все-

* Небесная глубина — дно неба, основание неба; астрологический термин, обозначающий точку зодиака, в которую приходит Солнце в момент истинной полуночи.

гда найдется какое-нибудь античное его изображение. И часто — сознательно или бессознательно — согласовывал свои труды с его функциями или атрибутами.

Разве не сподобился я написать «Дневники Зевса»? Двенадцатеричный ритм небесного обращения Юпитера то внушал мне спасительное терпение (хотя оно вовсе не в моем характере), то укреплял в решимости. А порой помогал мне дать полезный совет государственным деятелям, будь они у власти или вне ее.

Но квадрат, который Марс образовал с Юпитером в час моего рождения, сулил моему пути также беспрестанные столкновения и даже боевые действия, компенсированные, правда, сильной дружбой и могучим покровительством, что должно было помочь мне в грядущих битвах, ввязываться в которые у меня была определенная склонность.

Другой квадрат, Сатурна и Солнца, позволял предвидеть скрытые под активностью Юпитера кое-какие тормоза и препятствия ходу судьбы, влекущие за собой тяжесть на душе и периоды меланхолии в собственном смысле слова, то есть черного настроения. Сатурн, не сумев пожрать Юпитера, мстит за то, что был свергнут им, и всякий раз, затеняя его в силу своего положения, творит препятствия.

Зато гораздо более ободряющими были динамические аспекты и быстрый подъем благодаря Солнцу и Меркурию в Тельце и Юпитеру в треугольнике с асцендентом в Водолее, причем в этом знаке находился также Уран.

Так что я был рожден под двойной сигнатурой Телец — Водолей, в гармоничном сочетании земли и воздуха, из чего можно вывести сосуществование привязанности к традиционным ценностям, склонность к укоренению, упорство в усилии и не противопоставленные, а взаимодополняющие способности воображения, открытость новизне, поиск ценностей будущего.

Но все это было лишь информационной картой. Еще требовалось, чтобы появился компьютер, то есть сам человек.

II

АРХЕОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ

Я не любил детство. Я не любил *свое* детство. Быть может, это было вызвано неприятностями, которые посыпались на меня с первых же недель жизни.

До чего завидно, что жеребенок, едва покинув материнскую утробу, уже встает на свои ножки-ходули — слабые, худые, дрожащие, — но встает! Человеческое же детство — это долгое ожидание, это зависимость, это рабство.

Правда ли, что мать, еще кормя меня грудью, но весьма желая покрасоваться в ореоле молодой родительницы, с гордостью брала меня на занятия в Консерваторию?

Я был бы не прочь усомниться в этом, если бы не газетная заметка того времени за подписью театрального критика, согласно которой я вел себя во время занятий довольно смиренно и орал лишь тогда, когда раздавался голос трагика Муне-Сюлли.

Histrion, actor, comoedus, artifex, scaenicus*: для обозначения различных театральных исполните-

* Трагик, декламатор, комик, злодей, шут (лат.).

лей римляне классической эпохи располагали целым набором слов. Первые представшие моим глазам образчики человеческого рода были как раз представителями этих странных категорий. Да и сам я был выставлен на обозрение именно им. Думаю, что никто не слышал сгансы Сида, проклятия Камилла, жалобы Береники и тирады Фигаро в более раннем возрасте, чем я.

Это знакомство длилось недолго. Требования театрального искусства оказались несовместимы с требованиями ухода за грудными младенцами, и вскоре я был доверен попечению бабушки с материнской стороны. В некотором роде сдан на хранение.

Должно быть, у каждого индивида есть свой предпочтительный возраст. Некоторые до конца дней находят отраду в картинах своего детства, словно любят утраченным раем. Думаю, что сам я создан для того, чтобы быть взрослым, потому что без всякого удовольствия вспоминаю, как был всего лишь наброском человека — беспомощным, неспособным к самостоятельности и испытывающим на себе естественную неизбежность роста, в то время как уже начали формироваться образы, ориентиры, узнавание вещей, элементы мыслей, желаний, влечения и отвращения.

Первые воспоминания бывают двух видов: то, о чем вам рассказали, и то, о чем рассказать не могли.

Правда ли, что первое слово, которое я внятно произнес, было не «мама», как это обычно бывает, а «хочу», к тому же, вероятнее всего, сопровожден-

ное ударом крошечного кулачка по откидной доске моего высокого детского стульчика? Это воспоминание рассказанное, но на меня довольно похоже.

Зато первое принадлежащее собственно мне воспоминание, которое никто не мог мне внушить и которое я всегда носил в глубине своей памяти, запечатлело прихожую в квартире моей бабушки. Я нахожусь рядом с большим голландским столом из черного дерева, который выше меня, и смотрю, как мать разворачивает перед собой большой лист белой, очень гладкой бумаги. Она делает из нее пакеты, говоря: «Это для Сибера».

Мне могло быть тогда самое большее два года, поскольку тот, кому это предназначалось, вскоре исчез. Хотя я не раз должен был видеть этого молодого человека, передавшего мне жизнь или осуществившего мою волю к жизни. Он наверняка держал меня на руках. Однако ни силуэта, ни одной черты, ни малейшего ощущения его присутствия не запечатлелось во мне, ничего, кроме этого большого листа белой незапятнанной бумаги и этого театрального имени, произнесенного, чтобы удостоверить мою память, что в какой-то момент мы вместе были на земле.

Актриса Мари Марке, великанша, любовница Эдмона Ростана, потом любовница Андре Тардые, которая была пайщицей «Комеди Франсез» и приобрела под конец карьеры некоторую известность, играя роли властных сварливых женщин, рассказывала в своих воспоминаниях, что моя мать, ее современница, якобы укрылась у нее ночью после са-

моубийства Сибера, сказав ей: «Не хочу, чтобы мой ребенок спал рядом с трупом своего отца». Это чистейшая выдумка актрисы. Они уже не жили вместе.

Правда, моя мать была тогда разведена со своим эпизодическим мужем, и развод сопровождался непризнанием его отцовства. Задолго до того, как я узнал, что такое «гражданское состояние», оно у меня уже изменилось. Таким образом, будь то в официальном документе, зарегистрировавшем мое существование, будь то в глубинах моей памяти, всякий отцовский след был стерт, вычеркнут. Пустота, отсутствие и, разумеется, нехватка.

Неужели именно в этот драматический момент, сразу после его самоубийства, моей матери взбрело в голову сказать мне, что Сибер — поскольку она никогда не называла его иначе — умер от испанского гриппа?

В любом случае это было очень рано, раньше, чем сама мысль о смерти приобрела для меня какой-то смысл, какую-то реальность, потому что от этого сообщения в моей памяти тоже ничего не осталось. Это было рановато и для того, чтобы счесть себя обязанной бесконечно повторять мне эту ложь, упорствовать в своей выдумке вплоть до моего отрочества, когда правда внезапно откроется мне.

Археология сознания до странности фрагментарна. Что-то важное отсутствует, зато на соседнем участке вдруг обнаруживаются черепок или монетка, избежавшие и осыпей, и лихвы ростовщиков.

Первая странность: маленький ребенок видит сам себя, видит даже со спины, на таком-то и таком-

то месте, что перестает случаться после определенной стадии роста. Словно душа находится вне тела, ожидая, когда оно станет побольше и сможет вместить ее.

Я вновь вижу себя, точнее, вновь вижу, как я вижу квартиру моей бабушки близ церкви Сен-Ламбер в квартале Вожирар, еще сохранившем кое-что от деревни, которой был когда-то.

Видю себя на балконе, слышу крик петуха по соседству.

Видю себя перед одним из старых поклонников моей бабушки, который поднимается на этаж, чтобы засвидетельствовать ей свое почтение. Это превосходный человек, Адольф Шериу, мэр округа, который своей дородностью и часовой цепочкой, пересекавшей черный жилет, казался самым воплощением важной особы времен Третьей республики.

Я вновь вижу себя со спины, в задней части квартиры, перед окном, выходящим во двор детского сада, где большие каштаны совсем недавно покрылись нежно-зелеными листочками. И слышу, как кто-то говорит у меня за спиной: «Это весна».

Вскоре моя вселенная расширилась до городских укреплений, построенных при Луи Филиппе, куда меня водили подышать воздухом, как это тогда называли, и поиграть на высоком, поросшем травой откосе. Эти бастионы малогодились во время войны 1870 года и совсем негодились во время той, которая только что закончилась. Вскоре они исчезли.

Узнав, глядя на новую листву, что такое весна, я узнал и что такое сад, оказавшись в густом и пахучем саду керамиста Лашеналея, другого приятеля моей бабушки. Он был современником Галле, и его ярко-голубые, с кракелюрами, вазы и кубки сначала пользовались большим спросом, но потом впали в немилость даже у старьевщиков и лишь через два поколения вернули себе некоторую ценность. У Лашеналея была мастерская возле Монружа, со всех сторон заросшая глицинией, ломоносом и жимолостью, которые карабкались по стенам и обрамляли двери дома и сараев. Дамы пили чай, укрываясь от солнца под белыми зонтами.

Моя память сохранила также образ пожилого рослого господина с седыми, коротко остриженными волосами и голубым взором, к которому меня привели, поскольку сам он никуда не выходил. Его звали Шарль Вилль, и он сочинял музыку к эгегическим стихам моей бабушки. Но самым замечательным в его внешности был длинный шрам, пересекавший щеку. Удар пикой, полученный в самой знаменитой кавалерийской атаке Франко-прусской войны. Так что могу утверждать: я собственными глазами видел кирасира, сражавшегося при Решоффене*. Это была моя первая встреча с Историей.

* Битва при Решоффене (нем. Рейхсхоффен) в Эльзасе произошла 6 августа 1870 года, в начале Франко-прусской войны. Знаменита рядом атак французской тяжелой кавалерии (кирасир) против втрое превосходящих прусских войск. С чисто военной точки зрения эти атаки с их огромными людскими потерями были совершенно бесполезны, однако сам факт широко использовался пропагандой, в частности, для возвращения Эльзаса в состав Франции.

Я открыл для себя жизнь в деревне, длинные зеленые волны холмов, великолепную летнюю жару и запах лошадей у подножия Пиренеев, куда бабушка (опять она!) взяла меня с собой на отдых.

От этого первого восприятия лета мне запомнилось также обильное и нежное присутствие какой-то полной смешливой девушки, которой нравилось прижимать меня к себе. У этой крестьянской Кибелы, у этой пышнотелой Цереры были розовые руки и уютный корсаж.

Осень отняла ее, вырвав меня из этого полевого рая, и я снова был доставлен в парижскую квартиру, в квартал Вожирар, где под окнами сбрасывали листву каштаны. Из комнаты бабушки доносились лекарственные запахи эвкалипта и розного ладана, а из комнаты моего дяди, продолжавшего там жить от безденежья, пахло резиной, клеем и скипидаром. Эта комната была хаотическим нагромождением мольбертов, палитр, холстов и всевозможных инструментов — с их помощью внучатый племянник Шарля Кроса поддерживал свою иллюзию, будто унаследовал его гений. Витали там и ароматы модных духов, исходившие от его жены-музыкантши, которая была безумно влюблена в себя и проводила часы скуки за фортепьяно. Их брак продлился недолго.

Сменяли друг друга служанки, чьи лица я не запомнил. Зато помню трубочистов, приходивших всего раз в год. Вижу себя наблюдающим, как они работают у каминов, крича в дымоход и ожидая ответа напарника с крыши.

Мать заходила почти каждый день, очень ненадолго. Впоследствии она делала некоторое лирическое усилие, чтобы убедить всех и в первую очередь своего сына, что с самого раннего моего детства была образцовой и неизменно преданной матерью, хотя вполне удовлетворялась этими мимолетными появлениями. А когда она не приходила, служанка отводила меня к ней, нарядив в зеленый бархатный костюмчик, поскольку считалось, что зеленый цвет гармонировал с рыжеватым оттенком моих белокурых волос, который называли венецианским.

У нее было временное жилище в том же квартале, в переулке Фаворитов. Приходя, я всегда застаивал одну и ту же картину: она возлежала в шелковом платье на низком, покрытом мехами диване, куря сигарету «Ориен» с золотым мундштуком. Она учила там свои роли.

Это время останется для моей матери периодом ее славы. Она состояла тогда в труппе «Старой голубятни» и играла Шекспира у Жака Копо, который сделал знаменитым этот барак, открыв в нем век главенства режиссеров.

Она снималась в фильмах Марсея Лербье, другого новатора, чье имя сохранилось в истории кино среди тех, кто сделал его искусством. Читала и перечитывала похвальные отзывы критиков о себе. Газета «Комедия» была для нее повседневной пищей. Ее фотографии появлялись в глянцевого обозрениях, посвященных спектаклям. Она так никогда и не оправится от этого дебюта, от этой едва начавшейся известности.

Я же запомню день, когда она отослала меня, потому что явился какой-то очень черноволосый господин со странным акцентом, чтобы поговорить с ней о проекте фильма. Видимо, это было мне неприятно, поскольку воспоминание сохранилось.

III

ОТБОР ВОСПОМИНАНИЙ

Почему моей матери захотелось однажды отвести меня на киностудию? Я вновь вижу себя на этой фабрике образов, вижу, как блуждаю среди нагромождения каких-то балок или, задрвав голову, пляшусь на огромного Реймона Пейеля, гиганта с пленительной речью, который был тогда сердечным другом Марсея Лербье.

Реймон Пейель принадлежал к семье крупных судейских и стал ее несчастьем. Иметь сына актера, да к тому же гомосексуалиста, было в ту эпоху гораздо больше, чем мог вынести генеральный прокурор Счетной палаты.

Актерская карьера, в которой Пейель отнюдь не блистал, разве что на вторых ролях в пьесах Эдуара Бурде, прервалась, когда он начал карьеру романиста, на сей раз действительно успешно и талантливо, но не под своим настоящим именем, хотя это могло бы пролить бальзам на семейные раны. Он выбрал себе псевдоним Филипп Эриа, которым и подписывал произведения, созданные с плодотворной и точной медлительностью. Последующие поколения запомнят, по крайней мере, «Семью Буссардель»,

где описан целый век буржуазии квартала Монсо, весьма замечательный роман об обществе, где, согласно требованиям жанра, вполне хватало едкой и жестокой иронии.

Филипп Эриа никогда не забывал нашу первую встречу и всякий раз, когда мы виделись на протяжении многих лет, охотно мне ее напоминал, по-прежнему смакуя слова своим манерным голосом, который удивлял, доносясь с вершины этой башни, увенчанной широкой, как у большого пса, физиономией, какие бывают иногда у карликов.

Я иногда задумываюсь: а привык ли он вообще к тому, что я вырос? Во всяком случае, сомнительно, что он голосовал бы за меня, если бы уже был членом Гонкуровской академии, когда я опубликовал своих «Сильных мира сего».

Если я отмечаю сходство с собаками, которое часто бывает у гигантов и рахитичных карликов, то потому, что в тот самый день на фабрике образов оказался карлик как раз такого типа, которому Лербье любил давать второстепенные роли. Все боялись, как бы я от удивления не брякнул своим звонким голоском что-нибудь обидное на его счет. Однако, хотя мое поведение со взрослыми было, по словам Эриа, довольно надменным, этому странному существу с туловищем и головой великана, который семенил на крошечных дугообразных ножках и размахивал вывернутыми ручками, я не сказал ничего неуместного.

Когда меня потом похвалили за мою благоразумную сдержанность, я ответил спокойно: «А что такого? Это же карлик, вот и все».

Я не забыл также худощавого и узколищега Марсея Лербье, человека мрачноватого и педантич-

но-размеренного, который относился к своей особе чрезвычайно серьезно. Вокруг него на площадке царил почтительная атмосфера.

Так что нет ничего неестественного в том, что он запечатлелся в моей ранней памяти. Гораздо удивительнее, что я, ребенок, врезался в его собственную. Быть может, из-за своего приветствия. Я слышал, как все вокруг называли его «Лербье... Лербье». Мне сказали: «Иди поздоровайся с Лербье». Поэтому я подошел и сказал: «Здравствуй, Лербье!» Он аж вздрогнул. Мне сделали выговор: «Ну что ты, надо говорить “господин Лербье”. Иди извинись». Я опять подошел к нему и очень вежливо молвил: «Я тебя извиняю, господин Лербье».

Мы больше не имели случая увидеться в течение полувека. Однако в последние годы своей жизни ему понадобилось обратиться ко мне как к министру культуры, и он сумел сделать скромный, немного туманный намек на ту далекую и весьма неравную встречу. Судьба порой преподносит нам такие сюрпризы!

Вообще-то, в череде обычно заурядных дней я вспоминал то, что мне уже тогда казалось исключительным и в собственном смысле слова памятным. Я отбирал свои первые воспоминания.

Так, я помню угловатую худобу актера Эдуара де Макса, столь решительно вмешавшегося в жизнь Сибера. Мы с ним увиделись за несколько дней до его конца. Де Макс лежал на своем скорбном одре, умирая от туберкулеза. У него был бесплотный профиль, как у Ламартина на его последних портретах, и театральный, носовой голос — голос Мальро в его последних речах. Он упрекнул мою мать за то, что та взяла меня с собой, нанося этот визит, на-

верняка последний. «Нехорошо ребенку видеть кого-то в таком состоянии...» После чего взял с прикроватной тумбочки, заваленной лекарствами, купюру в сто франков и с щедрым безразличием, словно уже не будет ни в чем нуждаться, дал мне ее со словами: «Купишь себе мячик и стек». С такой суммой я в то время мог запросто опустошить магазин игрушек. Мяч, это я понимаю. Но почему стек? Какое представление о моей маленькой особе сложилось в его полусознании, что он вздумал одарить меня принадлежностью кавалерийского офицера? Или же он хотел своим необычным жестом запечатлеться в моей памяти? Ему это удалось.

Кессели довольно мало присутствовали в моей юной жизни.

Жозеф, или Жеф, еще не приобрел тогда литературной известности, которая вскоре снизошла на него, но уже занял место в журналистике благодаря своим репортажам о восставшей Ирландии, а в промежутках между поездками начал творить в ночных русских кабачках легенду о себе.

Должно быть, я всего один раз видел его отца, доктора Кесселя, утопавшего в своем кресле: остроконечная, совсем поседевшая бородка, выступающие скулы, потухшие глаза. Я вижу его так же, как он сам видел меня, — словно сквозь туман. Он постепенно терял зрение.

Время от времени меня водили показывать Раисантонне, ожидавшей встречи на парковой скамейке. Парк Монсо, парк Монсури? Не знаю. Однажды она подарила мне канарейку в маленькой клетке. Вот и все из того, что могло бы стать моей семьей.

Ах нет! Меня водили еще к первой жене Жозефа Кесселя, Санди, которой тоже предстояло умереть от туберкулеза. Красивая, молодая, бледная женщина лежала в постели под белым меховым одеялом. Жеф хотел, чтобы она увидела «сына брата», как он меня обозначал. Сам он маячил рядом со мной, словно большая плотная тень.

Другая декорация: «Кафе де ла Пэ» на углу площади Опера. Мать порой водила меня туда повидаться с моим крестным, который заседал там в одиннадцать часов утра перед рюмкой белого портвейна.

Он ничем не оправдывал ни свое имя римского всадника, ни фамилию. Насмешкой казалось и то, как его упоминали в справочниках: Сен, Морис*. Он принадлежал к могучей промышленной династии «Братья Сен», производителей мешков и брезента, которые десятилетиями упаковывали половину того, что производилось во Франции. Должно быть, ему было тогда уже больше пятидесяти лет.

Он отличался бледным холеным уродством, был завсегдаем Больших бульваров и упорным посетителем театральных кулис; считался весьма богатым, да и в самом деле был таковым, правда не очень долго, поскольку так основательно промотал свое состояние на женщин (которым не причинял большого вреда), игру и биржевые спекуляции, что его семья, в которой он был паршивой овцой, в конце концов добилась через суд назначения ему, как недееспособному, советника.

* Saint по-французски значит «святой»; все вместе выглядит как святой Маврикий.

На двух выпуклостях, украшавших его виски, — след акушерских щипцов, которые вытянули беднягу на свет, — покоился жемчужно-серый, бежевый или черный котелок, в зависимости от времени года. Он постоянно носил в жилетных карманах завернутые в шелковую бумагу драгоценные камни, переливами которых прельщал свои будущие и напрасные «завоевания». Вожделение, блестящее в их глазах, доставляло ему большое удовольствие; а если они слабо протестовали, ломаясь: «О! Нет, это чересчур, я не осмелюсь!», он степенно убирал «камешки» в карман. Поговаривали, что одной из этих дамочек удалось-таки «выцарапать» у него огромную сумму, целый миллион, на ребенка, которого она обещала ему подарить и подарила, но с помощью кого-то другого.

Обо всех этих странностях я, конечно, узнал лишь много позже, но вполне смог приложить их к бледному чудаку из «Кафе де ла Пэ».

Если моя мать рассчитывала обеспечить мне щедрого покровителя, доверив этому расточительному и одновременно скупому гуляке держать меня над купелью, то совершенно ошиблась. Но этот крестный все же сделал мне довольно ценный подарок, предоставив основные черты для Лулу Моблана, одного из протагонистов «Сильных мира сего».

Таким образом, к пяти годам я уже собрал недурную коллекцию лиц и воспоминаний.

Однако именно в день моего пятилетия меня постигло глубокое разочарование, одна из детских драм, смешных, но исполненных в тот момент величайшей важности, что делает их незабываемыми.

В течение предыдущих недель мне все твердили: «Будь умницей, ты скоро станешь мужчиной...

Надо вести себя как мужчина... В пять лет уже становятся мужчиной». И это так запало мне в душу, что утром в день рождения я первым делом бросился к большому зеркалу, горя нетерпением увидеть свое преобразование. Как же я был разочарован, обнаружив, что остался таким же, каким был вчера!

«Обманули!» — завопил я. И битый час, поддерживаемый неистовым гневом, повторял: «Обманули, обманули, я не мужчина».

Я всегда плохо переносил не сдержанные обещания.

Однако та же весна принесла мне чудесное возмещение, сделав подарок, который я считаю несравненным.

Наконец-то в моей жизни появился настоящий мужчина — исключительно достойный, исключительно порядочный, кто первым отнесся ко мне как к будущему взрослому. Я в долгу перед ним за то, чем стал; то есть это он сделал меня способным к тому, что я исполнил. Чем больше времени проходит, чем больше громоздится лет, тем больше я люблю его память и его имя. Его звали Рене Дрюон.

IV

ТРАГЕДИЙНАЯ МАТЬ

Лето 1991 года

Едва я написал предыдущие страницы, как весной, почти в столетнем возрасте, умерла моя мать.

Быть может, кто-то удивится моим суждениям о ней. Даже ее кончина не заставила меня изменить их. Внезапная снисходительность по отношению к усопшим — благочестивая условность, в которую входит и доля лицемерия. Кончина не стирает всего. Не стирает ни раны, ни разочарования.

Нельзя сказать, что я не любил свою мать. Со всем наоборот, я нежно ее любил и обожал на протяжении всего моего детства, юности и даже в начале зрелого возраста.

Я долго полагал, что могу тщетно ожидать от женщин проявления добродетелей, которыми она образцово себя наделяла, чтобы властвовать.

Чудо театра! Она была несравненна в женственности. Дочь, любовница, супруга, мать, и всегда в трагедийных ситуациях, героиней которых видела себя. Не было такого удара судьбы, который она не претерпела бы, встретив его лицом к лицу со всем

величием романтической страсти, расиновского отчаяния или корнелевской самоотверженности. Разве не сделала она все, чтобы убедить меня, и всех, и саму себя, что пожертвовала ради сына своей карьерой великой актрисы?

Но нельзя бесконечно поддерживать иллюзию. Настает момент, когда растрескивается фасад, или рухнет каркас, или стирается краска в переписанных местах, и тогда на портрете проступают подлинные черты.

Чувства матери по отношению ко мне кардинально изменились, когда она перестала видеть в моих глазах отблеск своего поддельного образа, когда поняла, что я знаю: этот спектакль — надувательство.

На ее небосводе сошлись звезды Агриппины, властной матери, для которой сын — всего лишь инструмент ее собственного осуществления, которая желает ему короны лишь для того, чтобы царствовать самой, и становится враждебной ему, как только он от нее освобождается.

Всем, что со мной случилось счастливого или приятного, я был обязан ей, потому что это она произвела меня на свет. Получал ли я литературную премию, побеждал ли на выборах или назначался на государственную должность, она непременно должна была присутствовать при этом, чтобы ей подтвердили ее изначальную важность. Посвященные мне статьи всегда считались неполными, если в них не было упоминания о ней или похвалы в ее адрес. Она была чувствительна только к видимости и хотела бы прожить предо мной мою собственную жизнь.

Все, что я делал для нее, а делал я немало во всех отношениях, никогда не казалось ей достаточным.

Ей не было равных в умении внушить чувство вины по отношению к своей особе.

Я был объектом постоянных упреков, выраженных намеком в моем присутствии и открыто перед ее маленьким двором, состоявшим из гомосексуалистов и щелкоперов, которые окружали ее лестью и обирали. В преклонных годах ее навязчивая неудовлетворенность в конце концов превратилась в своего рода ненависть.

Неприятности, которые она могла доставить мне своей безалаберностью, мотовством, страстью к игре, постоянными долгами, случайными знакомствами, были для нее чем-то вроде реванша, платой, которую она мне навязывала.

Этот тип матери встречается во всех эпохах. Другой исторический пример: Олимпия, мать Александра Великого, которая так сильно давила на него и создала ему столько трудностей, что он воскликнул однажды: «Слишком дорогая плата за девять месяцев проживания!»

Я неоднократно замечал по некоторым признакам, что она довольно благосклонно рассматривала возможность того, что я могу умереть раньше ее. И воображала себя в своей последней трагической роли — роли безутешной матери, потерявшей своего знаменитого сына, и чей долг — сберечь память о нем. Ведь вырвались же у нее эти недвусмысленные слова, обращенные к моей жене Мадлен вскоре после нашей свадьбы: «Теперь вы наследница!»

Впрочем, для тех, кто к ней приближался, она была личностью яркой, привлекательной, питавшейся воспоминаниями и сохранявшей до конца

своих дней редкую живость ума, а также удивительную твердость пера.

Ко мне же были обращены наименее приятные стороны ее натуры.

От этого я страдал вдвойне. Из-за вечной неудовлетворенности, на которую ее обрекал некий изъян души. И оттого, что уже не мог любить ее так, как прежде.

Я возвращаюсь к тому, кто был опорой моей юности.

V

ДАРОВАННОЕ ИМЯ

Когда вам преподносят в дар имя, к тому же довольно редкое, вполне естественно изучить его историю.

Дрюон — одно из старинных фландрских имен, которое встречается в эпических песнях, святцах и даже в Синем путеводителе по Бельгии.

Его первые написания — Дрюон, Дроон, Дрогон — так же неопределенны, как и его происхождение.

Стоит ли сблизать его с древними наречиями Уэльса и Корнуолла, где *drud*, *druth* означали «отважный» и «волевой»?

Или же оно пришло с Юга, по прихоти военных и торговых миграций? На генуэзском диалекте *druo* означает «сильный», а на пьемонтском *dru* имеет смысл «плодовитый».

Не лишена вероятия и его близость с одной из форм греческого слова, обозначающего дуб: *drus*, *druos*, *druon*. Это даже наиболее правдоподобная гипотеза. Священные ритуалы *друидов* были такими же, как и у жрецов Додоны. А в древнем мире связи между жрецами и местами оракулов были гораз-

до теснее и чаще, чем мы склонны себе вообразить. Слова путешествовали вместе с паломниками. Если Самофракия в Эгейском море могла быть связана с Эроче на Сицилии, то почему не предположить связь Додонского оракула в гористом Эпире с кельтскими святилищами?

Первый Дрюон, появившийся в истории или, скорее, в легенде,— это свирепый великан Друон Антигон, который терроризировал Антверпенский порт, отрубая правую руку морякам, не способным заплатить ему дань. Но некий отважный юноша положил этому конец, отрубив кисть руки самому Друону. Подвиг юноши прославляет непомерная бронзовая статуя, воздвигнутая в Антверпене и изображающая искалеченного северного Голиафа и фламандского Давида, который воздел над головой отсеченную руку противника. Должно быть, дело происходило в смутные времена, последовавшие за распадом Римской империи.

Второй Дрюон*, оставивший по себе память,— это незаконный сын Карла Великого. Он родился от Регины, одной из трех сменявших друг друга наложниц, которые были у Карла после его третьего вдовства. Известна дата рождения этого Дрюона: 17 июня 801 года, через шесть месяцев после того, как Карл, короновавшись в Риме, стал императором Запада.

Избранный им преемник, его третий сын Людовик, ничуть не оправдал, во всяком случае на первых порах, закрепившееся за ним прозвание Благо-

* Собственно Дрого или Дрогон.

честивый. Приказав ослепить мятежного племянника Бернарда, короля Италии, он велел постричь в монахи своих сводных братьев, чтобы звание духовного лица помешало им стать его возможными соперниками. Но он следил за их образованием.

Дрюона, проявившего ему преданность, он сделал сначала каноником, потом епископом города Меца, причем по просьбе самих жителей. Таким образом, в свои двадцать два года Дрюон стал самым молодым прелатом христианского мира. Через десять лет он был возведен в сан архикапеллана, что давало ему власть над всеми церковными делами Империи. *Magister sacri consilii, ambasciator, archiepiscopus**, в сорок лет он стал понтификальным викарием, то есть представителем Папы во всех областях, расположенных к западу и северу от Альп. До этого Дрюон реставрировал Людовика Доброго, в какой-то момент свергнутого с престола, и увенчал его императорской короной. А когда Людовик смертельно заболел, Дрюон каждый день навещал его в священническом облачении, напугавшая вплоть до последней минуты.

Будучи человеком ученым и сведущим, он надзирал над школами и образованием, его восхваляли поэты. Это он ввел в обращение «мецкий распев», предшествовавший григорианскому.

Престиж, которым Дрюон обладал как сын Карла Великого, в сочетании с личными качествами сделал его превосходным посредником между Папой и духовенством, между галлами и германцами, между императором и его родней, а также между

* Глава священного совета, посол, архиепископ (лат.).

сыновьями императора. Он не был чужд подготовке «договора трех братьев», подписанного в Вердене в 843 году и обновленного в следующем на Тионвильском съезде, состоявшемся под его председательством. Этим он оказал решительное воздействие на судьбу Европы.

Этот могучий деятель имел склонность к простым удовольствиям: в пятьдесят четыре года он утонул, свалившись в реку, на берегу которой удил рыбу удочкой.

Третий Дрюон, чей след сохранился в истории, по крайней мере локальной, был святым из области Дуэзи и жил в XII веке.

Согласно летописцу Жаку де Гизу, написавшему «Анналы Эно»*, святой Дрюон родился в 1118 году в младшей ветви сеньоров д'Эпинау, соединенных браком с сеньорами д'Антуэн. Большая крепость Антуэн, господствовавшая над областями Турнэ и Сент-Аман, которые разделены рекой Шельдой, долгое время была в составе сеньории Эпинау, прежде чем перейти к принцам де Линям.

Народная традиция, которая вполне стоит традиции писанной, утверждает, что святой Дрюон родился в Карвене, в местечке, позже названном Колдцем Святого Дрюона.

Однако сиры де Карвен, имевшие рыцарское достоинство, носили тот же герб, что и сиры д'Эпинау, а Дрюон, кажется, было их родовым именем.

Хроникер пишет, что родители святого «были известны и не менее богаты, чем старшие Эпинау, и

* Графство Геннегау (Hennegau), по-французски Эно, — одна из провинций средневековых Нидерландов, ныне входит в состав Бельгии.

так случилось, что в те времена эта сеньория принадлежала им».

Отец умер до рождения ребенка; а мать — производя его на свет. Женщины тогда редко выживали после кесарева сечения.

Сирота оказался наследником достаточно обширных земель, чтобы возбудить зависть. В десять лет ему открыли обстоятельства его рождения; кузены жестоко донимали его, не переставая твердить, что он убийца собственной матери. Это внушило мальчику чувство тяжелейшей вины, которую он пронес через всю жизнь, надеясь искупить ее служением Богу и покаянием. Те немногие деньги, что давали ему опекуны, он тратил на милостыню, и его благочестие трогало сердце поселян.

«Краткое сказание о жизни и чудесах знаменитого исповедника Иисуса Христа святого Дрюона в назидание жителям Себура и паломникам, что приходят туда со всех концов христианского мира» — поскольку таково полное заглавие этого агиографического произведения, — описывает его в отрочестве как юношу, «наделенного всеми достоинствами духа и тела и которому было что показать людям с приятностью... Благородство крови и высокое рождение открывали ему путь к почестям...»

Однако этот столь блестящий молодой человек однажды избавился от всего своего имущества и в нищенских лохмотьях ушел куда глаза глядят по дорогам. Его приютила в Себуре, деревне, отстоящей на два лье от Валансьена, одна превосходная дама, вдова Ле Эр, воплощавшая для него, без сомнения, мать, которой он не знал. Покровительница поручила ему работу пастуха, но такое времяпрепро-

вождение показалось ему слишком приятным, и он решил отправиться паломником в Рим. Вернулся, снова ушел. За двадцать лет он девять раз преодолел пешком путь от берегов Шельды до Тибра, пока болезнь не воспрепятствовала этим долгим путешествиям.

Жители Себура соорудили Дрюону, по его желанию, лачужку у церковной стены. Когда молния ударила в колокольню и пожар перекинулся на церковь, Дрюон отказался покинуть свою келейку, говоря, что вверяется воле Божией: либо она даст ему погибнуть в огне, либо спасет.

Церковь рухнула, но келья осталась невредимой, а Дрюона, казалось, не беспокоили ни дым, ни жар пламени.

С тех пор он стал «человеком Божьим»; к нему приходили из всех областей, просили о благословении и приносили дары, которые он спешил раздать беднякам.

Так он прожил еще много лет и умер почти семидесятилетним старцем.

Жители Карвена-Эпинуа, откуда он был родом, явились за его останками, чтобы доставить их в семейную усыпальницу. Но, когда повозка доехала до границы Себура, тело, согласно легенде (которая и тут не уступает сказаниям о других святых), сделалось таким тяжелым, что повозку словно пригвоздило к земле, и даже четыре сильные лошади не смогли ее сдвинуть. Пришлось с великой торжественностью, устроенной местным клиром, поворачивать назад, к церкви, где святого Дрюона и погребли рядом с купелью. Это было отнюдь не последним его чудом.

Ибо чудеса вокруг его могилы вскоре стали множиться. Дама Ле Эр, пережившая своего бывшего протеже, привела туда одну деревенскую женщину, которой вывих руки не оставлял ни сна, ни покою. И когда они встали перед могильным камнем, тот приподнялся, опрокинув купель. Несчастливая засунула в могилу больную руку, а когда вынула, «та была столь же здоровой, как и другая» и всякая боль исчезла.

Тогда к себурской церкви хлынули недужные, принося в дар либо деньги, либо ювелирные изделия.

Ферран Португальский, граф Фландрии и Эно, враг короля Филиппа Августа и его противник в Бувинской битве, решил завладеть этими богатствами. Он отправил одного из своих прево, чтобы вывезти сокровища из Себура, пообещав за это добиться канонизации Дрюона папскими властями. Но когда обоз переезжал через Шельду в Конде, мост рухнул и весь эскорт свалился в реку.

Тогда тот же граф Фландрский велел перевезти мощи святого в Бинк, чтобы выставить их на обозрение народу и получить от этого доход. Но исцеления тотчас же прекратились; так что через девять лет сочли более разумным вернуть их в себурскую церковь, где к ним вернулась чудодейственная сила.

Из всех исцелений, которые там произошли, самое знаменитое относится к последним годам XIII века. Другой граф Эно, Жан д'Авен, который был также графом Голландским, ужасно страдал от мочекаменной болезни. Многие же придворные уверяли его, что излечились от этой хворобы по заступничеству святого Дрюона. Жан д'Авен решил отпра-

виться в Себур. И когда, оказавшись перед могилой, он высказал свою просьбу, «у него тут же вышли три камня размером с лесной орех, называемый у нас бородастым, которые он оставил в церкви в память о чуде, добавив к ним очень богатую и ценную золотую ткань, чтобы украсить алтарь».

Церковь чтит память святого Дрюона, вписанного в римский мартиролог, 16 апреля, в день его смерти.

Поскольку он считался покровителем пастухов, статуи изображают его в пастушеском одеянии, с ягненок на коленях. Он защитник мелкого скота, к нему обращаются также ради благополучного разрешения рожениц, излечения болезней поясницы и мочевого пузыря. Кроме Карвена и Себура ему посвящены часовни или алтари в десятке приходоу Дуэзи и Камбрези, вплоть до Реймской епархии. Многие из них стали местом паломничества. У святого Дрюона были свои литании на латыни и песнопения на французском; до начала этого века в Камбре, Лилле, Турнэ, Дуэ и Валансьене существовали братства святого Дрюона.

Поскольку я упоминал святого Дрюона в «Проклятых королях», однажды мне пришло любопытное письмо от Мориса Тореза, самого известного из генеральных секретарей коммунистической партии и уроженца тех самых мест. Он писал мне, что помнит, как ребенком участвовал в процессии к часовне Святого Дрюона в Карвене. Шествие устраивали в понедельник Троицына дня, после чего из колодца Святого Дрюона доставали воду, обладавшую свойством излечивать животных и небольшое

количество которой жители деревни всегда хранили в доме, чтобы кропить комнаты в случае грозы.

Сегодня, кажется, культ святого Дрюона лучше всего сохранился в Виз-ан-Артуа, где церковная кафедра украшена резными барашками. Там продолжают выносить его статую в понедельник Троицына дня.

Никто не удивится, если я признаюсь, что всегда ношу на себе медальончик с изображением этого покровителя-тезки.

VI

ПОЧТЕННЫЙ РОД

Что же случилось с Дрюонами из Карвена или Эпи-нуа в последующие века, после того как они произвели святого? Сражались ли они в битвах при Бувине, при Куртрэ, при Монт-ан-Певеле и с какой стороны? Чьими вассалами были — графов Фландрии, Эно, Артуа или королей Франции? Похоже, они смогли уцелеть, хотя и не процветали, под последовательно сменявшимся владычеством Бургундии, Австрии и Испании. За отсутствием документов о них ничего не известно вплоть до Пиренейского и Нимегского договоров, то есть до присоединения валансьенской части Эно к Французскому королевству.

И вот, в конце XVII века, словно от скрытого в туманах времени ствола отделяются три солидные ветви: Дрюоны из Бюзиньи, Дрюоны из Като и Дрюоны из Сент-Амана.

Ветвь из Бюзиньи, самая старинная, особенно замечательна долголетием своих представителей. Восемьдесят, восемьдесят шесть лет и даже девяносто четыре года — исключительный возраст для той эпохи, а вышедшие из этого рода землевладельцы, эшевены и священники часто его достигали.

Дрюоны из Като скромно входят в Историю благодаря Франсуазе Аделаиде Дрюон, дочери королевского советника, которая станет матерью барона Камбронна, генерала и первого гренадера Франции, знаменитого своим звучным словом, произнесенным на поле боя при Ватерлоо, прежде чем его, окровавленного, унесли в лазарет.

Ее потомство было многочисленным, поскольку в ответвлении Камбронн-Дрюон удалось насчитать чуть не тысячу бракосочетаний, среди которых союзы с Сультами Далматинскими, Анри Мартенами, Одилонами Барро, Кантенами-Бошарами. Эти люди были рождены, чтобы давать свои имена улицам.

Мой приемный отец принадлежал к ветви из Сент-Амана. Ее основателем был хирург Жан Жак Дрюон, обосновавшийся в этом местечке, известность которому создали термальные воды, в 1672 году.

Его правнук, Шарль Исидор, родившийся в начале царствования Людовика XVI, купил в Дуэ нотариальную контору для своего сына Эдуара Франсуа, который женился на Луизе Ипполите де Реньяк, дочери полковника, возглавлявшего местный гарнизон.

Занятный был человек этот полковник де Реньяк, чье имя отдает Аквитанией, хотя он родился близ Льежа. Его герб украшала корона маркиза, но с приходом Революции он отбросил свою дворянскую частицу и подобрал лишь с ее уходом.

Позвольте мне ненадолго задержаться на нем, поскольку он — пример военных судеб того времени.

Реньяк записался в армию в шестнадцать лет, в ноябре 1792 года, рядовым первого бельгийского

батальона Северной армии. А через три месяца уже стал младшим лейтенантом в той же армии, которая удостоилась знаменитого названия «Самбра и Мез». Свое первое ранение — в левую руку — он получил, ринувшись на врага с двадцатью пятью людьми, чтобы отбить знамя. Следующий удар, саблей, пришелся ему уже в правую руку, и еще один, штыком, опять в левую — в том же году, во время вылазки гарнизона из Мобежа.

В 1800 году он оказывается в Итальянской армии, где его повышают в чине до лейтенанта. В Торлоне он захватывает пушку у австрийцев, которые в этом деле потеряли еще пятьсот пленных.

Реньяк служит в Римской армии, потом в Неаполитанской, потом в Граубюнденской. В Швейцарии он получает следующую рану в левую руку. Его шрамы начинают напоминать карту Европы.

В 1804 году он представлен к «капитанскому чину». В 1807-м стал кавалером ордена Почетного легиона. Через два года в Бамберге, в Баварии, этот рубака получает новый удар, в левое бедро.

В 1811 году он в Германской армии, назначается командиром батальона. «Г-н капитан вольтижеров Реньяк обладает доблестью и неустрашимостью сверх всякого выражения».

Не знаю, за какой новый воинский подвиг на поле боя его удостоили под Смоленском офицерского креста Почетного легиона. Он проделал с Великой армией всю русскую кампанию, включая трагическое отступление.

Крест Людовика Святого в 1805-м доказывает, что в Ста дней он участия не принимал.

Можно было бы удивиться, как такой человек, вступивший в армию ради Республики и последо-

вавший за императором на другой конец Европы, смог не менее храбро и верно служить монархии. Что ж, он был настоящим солдатом и служил Франции, подчиняясь, не кривя душой, всем ее правительствам.

Получив чин полковника, он еще участвовал в Испанской войне 1823 года — в войне Шатобриана.

У меня есть его поясной портрет: на нем он дороден, лысоват и розоволиц, в мундире с галстуком Почетного легиона.

Леонар Жозеф де Реньяк так и не стал генералом, а гарнизон Дуэ был последним местом его службы. Не скопил этот солдат и богатства, но, окончив свои дни в 1840 году, мог утешаться тем, что выдал одну из своих дочерей за графа де Бремуа, а другую, Луизу Ипполиту, за молодого городского нотариуса Эдуара Дрюона, происходившего из отнюдь не бедной семьи.

У Эдуара с Луизой Ипполитой было две дочери и один сын, Эмманюэль. Он родился в 1842 году и в двадцать восемь лет принял отцовскую нотариальную контору, да и в остальном следовал родительскому примеру, поскольку тоже женился на дочери командира гарнизона, генерала Порьона.

VII

ГОРОД В НАСЛЕДСТВО

Я никогда не жил в Дуэ. Не видел, как там сменяют друг друга времена года. Не ходил ни в его школы, ни в его лавки. Я приезжал туда лишь на похороны, где мое детство терялось в веренице пожилых господ, очень высоких, очень достойных, в черных шубах поверх церемониальных фраков и в цилиндрах с черной лентой, но при этом в высоких, доверху застегнутых ботинках, потому что кладбищенские дорожки на Севере часто грязны. Их супруги, тоже долговязые и сухопарые, были в меховых мантиях и укрывали лица под большими креповыми вуалями.

И все-таки этот город мой; я принадлежу ему через унаследованные воспоминания, составившие мою собственную память; я занял место в одном из его родов, и никакой другой город, кроме этого, не могу назвать прадедовским.

Должен сказать, что Дуэ отплатил мне такой же привязанностью и никогда не упускал случая поставить себе в заслугу любое мало-мальски замет-

ное обстоятельство моей жизни. Ко мне там всегда относились как к «отпрыску Гайяна» — это выражение лишено смысла для тех, кто не родился в Дуэ или не имеет там корней.

Гайян — это сплетенный из ивовых прутьев великан в облачении средневекового рыцаря, с султаном из перьев на шлеме, с мечом на перевязи и круглым щитом, которого проносят по улицам во время городских праздников. Он высотой более восьми метров, и нужна дюжина крепких мужчин, чтобы его нести. Они прячутся под юбкой, которой оканчивается великанский доспех.

Ничуть не меньше носильщиков требуется и для Мари Гайян, его жены, которая запросто достигает третьего этажа домов и весит два с половиной квинтала*. За ними следуют, понемногу уменьшаясь в росте, трое их деток: старший Жако, уже с мечом, дочь Фийона и самый младший Бембен, одетый и причесанный как младенец, который таращит свои раскосые глаза в восьми футах над землей.

Изначально, то есть в XVI веке, Гайян был произведением гильдии «плетельщиков» — изготовителей корзин для овощей и фруктов, которых в других местах называли корзинщиками. Из-за этих-то гигантов дуэзийцев и прозвали «ивовыми брюхами».

6 июля 1667 года, после взятия Дуэ Людовиком XIV, Гайяна с семейством вынесли для встречи короля. И с тех пор каждый год в первую неделю июля, отмечая конец испанской оккупации, эти пять колоссов и следом за ними колесница Фортуну дви-

* Метрический квинтал — 1 центнер.

гаются по улицам города под стук барабанов при великом стечении толпы. Народное гуляние, ducasse, может длиться три дня.

Девиз Дуэ: «Слава победителям». Его герб — прописное D, окруженное каплями крови. Кто основал город? Галло-римские офицеры, построившие в этом месте крепость? Инженеры VIII века с их уже достаточно развитой технологией, сумевшие, отклоняя ручьи и осушая болота, сделать судоходной реку Скарп, которой город обязан своим процветанием?

Филипп Август дал ему хартию; Фердинанд Португальский другую; Филипп Красивый вернул его в свое королевство, откуда он выпал во времена Карла V.

Дуэ, торговавший сукном и хлебом, деятельный, трудолюбивый, порой пышный, долго оспаривали друг у друга короли Франции и графы Фландрские. Его изящная дозорная башня говорит о гордости, ведь он вызывал вождедение столь многих, а колоколенки словно смеются, вспоминая, как о городские стены разбивались приступы Карла Смелого. Его суды, его парламент, его товары и учебные заведения, его произведения искусства, сосредоточенные в монументах и благородных жилищах, а главное, жизнь, которую вела его крупная буржуазия, вполне оправдывали прозвание, которого он удостоился при старом режиме: Афины Севера.

Да, я знаю Дуэ и питаю к его истории то внимание, какое может вызывать лишь нематериальное наследство.

Я знаю, что в церкви Святого Петра, приходской церкви Дрюонов, большом разносоставном здании со стрельчатым цоколем, ренессансной колокольной и перестроенным в XVIII веке нефом, хранились два железных молоточка, принадлежавшие, согласно молве, святому Элогию.

Я знаю, что при первой Реставрации мэром города стал г-н Беке де Межий, что во время Ста дней он был смещен комиссаром императора, восстановлен в должности указом короля при второй Реставрации и все еще занимал свой пост в начале Июльской монархии.

Город насчитывал тогда около двадцати тысяч жителей, а тридцать членов муниципального совета избирались из ста наиболее крупных налогоплательщиков кантона. Все-таки во времена избирательного ценза платить налоги было довольно почетно!

А также приятно нести военную службу в гарнизоне, который насчитывал четыре казармы (две из них артиллерийские), огромный арсенал, три пороховых склада и завод, на котором отливали пушки. Офицеров тут чествовали, а войска всегда хорошо принимали по причинам, выраженным с любезной откровенностью в постановлении муниципального совета от 1830 года: «Никто в этом городе не смог бы подсчитать, сколько еще один полк пустит денег в оборот...»

Итак, Дрюон из Сент-Амана, Эдуар, родившийся при Первой империи и ставший нотариусом в Дуэ, женился на Луизе Ипполите де Реньяк. У них были две девочки и один мальчик. Старшая дочь

вышла замуж за некоего Клу де ла Кудра, другая — за Байанкура по прозвищу Курколь. Сын Эмманюэль, родившийся в 1842 году и в двадцать восемь лет воспринявший от отца нотариальную контору, последовал, как я уже сказал, родительскому примеру, женившись на дочке другого коменданта гарнизона, генерала Порьона.

Этот последний происходил из Пикардии. Одна улица в Амьене, выходящая к собору, носит его имя.

Комендант обладал весьма представительной наружностью. Его брат Шарль Порьон, художник, писавший батальные сцены и торжества (кое-что из этих полотен сохранилось в музеях Версаля и Компьеня), изобразил его в парадном мундире дивизионного генерала.

Именно с портретом этого военного у меня находили в детстве очевидное сходство. И сегодня, когда мои волосы поседели, как у него, должен признать, что между нами (особенно когда я в мундире академика) и впрямь есть некое «фамильное» сходство. Собственно, я не похож ни на кого, кроме этого предка, ни одной капли крови которого во мне нет!

Генерал Порьон в юности был адъютантом сына Луи Филиппа, несчастного герцога Орлеанского, который погиб на авеню Нейи, когда лошади его экипажа понесли.

Продлав несколько кампаний, Порьон снова стал адъютантом, на сей раз императора Наполеона III. Во время осады Парижа в 1870 году он сражался на улицах Ванва и Кламара и командовал обороной Мон-Валерьяна.

У него были сын и дочь. Сыну, избравшему, как и отец, военное поприще, предстояло сделать карьеру в колониях. Он основал на реке Нигер «округ» Бамако, который стал столицей Мали, и служил на Мадагаскаре под началом Галлиени.

Что касается дочери генерала Луизы, вышедшей замуж за Эмманюэля Дрюона, то она отличалась исключительной красотой.

В своих «Воспоминаниях» о Дуэ той эпохи одна из современниц Луизы, г-жа Камескасс, описывает ее так: «Своей стройностью, голубыми глазами со стальным отливом и напудренной прической, напоминающей те, что носили во времена Людовика XVI, она не одну зиму затмевала всех дуэзянок, даже самых хорошеньких, когда девушкой стала бывать в свете».

Остановлюсь ненадолго на самой г-же Камескасс. Происходившая из местного мелкопоместного дворянства Валентина Люс де Лагорг вышла замуж за одного из первых префектов полиции Третьей республики. Но даже в Париже, во дворцах высшей государственной власти, она сохранила ностальгию по родному городу и оставила мемуары, которые являются шедевром провинциальной светской хроники.

В них есть все: семьи, браки, воспитание, религиозные правила, традиции, жизнь салонов и соседних поместий, конские соревнования, концерты, лавки, празднества и похороны.

Поскольку г-жа Камескасс безыскусна, она правдива.

Благодаря ей я могу представить себе свадебные трапезы, ибо она не только описывает их, но и приводит полное меню. Тридцать пять блюд за обедом, устроенным в 1845 году пивоварами Пенге для шести молодых пар, поженившихся в последние месяцы. «За стол сели в три часа». Вина: мадера и мерсо 1815 года, сен-жюльен и вольнэ 1794-го, марго 1719-го, а нюи-сен-жорж 1715-го. Все это сопровождало бульон, закуски, почки, молочных поросят, говяжью вырезку, баранье жаркое, рагу из куропаток, слоеные пироги, угрей под винным соусом, пулярок, косуль, фазанов, щук, антверпенские окорочка, шпигованные языки из Труа и страсбургский паптет из гусиной печени. Омары, бог знает почему, шли перед десертами и фруктовым мороженым с ликером. Как в те времена находились женщины, умудрявшиеся оставаться почти худощавыми?

Так и вижу этих дам из Дуэ, выбирающих в воскресенье пирожные или направляющихся в ратушу на лотерею для «стыдливых бедняков». Слово не так ужасно, как кажется; это значило лишь, что имя получавших помощь держалось в секрете, чтобы им не пришлось обнаруживать свою постыдную нищету.

Вижу также длинные соломенные кресты, которые вешали на дверях домов, где только что кто-то умер, и «смертные весточки» — большие траурные извещения на толстой бумаге, которые рассыльный просовывал под двери. Благодаря этим унаследованным воспоминаниям я хожу по улицам, где никогда не жил. Слышу, как вечером из больших домов доносится бальная музыка. Я знаю имена танцу-

ющих. Знаю, что м-ль Дрюон и м-ль Порьон приглашены на вальсы и мазурки г-ном Дюпоном, который создаст один из крупнейших банков Севера, лейтенантом Оскаром де Негрие, будущим генералом, который завоюет для Франции Тонкин, или г-ном де Байанкуром по прозвищу Курколь.

Любопытное родовое имя — с единственной во всем французском дворянстве добавкой «по прозвищу». Она восходит к сражению то ли при Бувине, то ли при Куртрэ, когда король, теснимый фламандскими пехотинцами*, призвал на помощь рыцаря де Байанкура, чья голова казалась вжатой в плечи, наверняка из-за некоторой горбатости, крикнув ему: «Ко мне, Короткошей!»** Это оброненное королем словечко «Короткошей» стало прозвищем рыцаря и, пройдя сквозь века, закрепилось, словно почетный знак, в его необычайно плодovitом потомстве. Родольф де Байанкур, тоже нотариус из Дуэ, женился на одной из сестер Эмманюэля Дрюона.

В то время этот край процветал благодаря добыче каменного угля, главного и почти единственного источника энергии для всей тогдашней промышленности. Создавались новые угледобывающие компании, нотариусом которых был Эмманюэль Дрюон.

Он возглавил отцовское дело в 1870 году (тогда же и женился), и, несмотря на войну, прибыль его

* В отличие от Бувина, в битве при Куртрэ никакой король не участвовал; французскими рыцарями, которых разгромила фламандская пехота, командовал граф д'Артуа.

** То есть «court col», хотя есть и другие версии происхождения фамилии Courcol.

конторы за этот первый год составила сто тысяч франков. Сто тысяч золотых франков.

В том же году он приобрел особняк на улице Блан-Мушон, совсем рядом с церковью Святого Петра, — прекрасное здание XVIII века из кирпича и камня на фундаменте из местного песчаника и с очень классическим фасадом.

Оно ему весьма подходило, поскольку это был человек солидный и упорядоченный. У него было красивое лицо и хороший рост, волосы довольно густые и волнистые, четко разделенные посередине пробором. Он рано поседел, держался весьма прямо, и никто не помнил его иначе как в рединготе. Вполне естественно, что именно ему досталось председательство в нотариальной палате Севера.

Он, как и его жена, обладал большим вкусом и здравым суждением касательно предметов искусства и редкой мебели. Опись оставшегося после них наследства занимает многие страницы. Когда среди комодов эпохи Регентства, лакированных картелей Мартена, сервизов Индийской компании я обнаруживаю там и картины с пометкой «приписывается Кранаху», «приписывается Микеланджело», мне очень легко вообразить себе жилище этого почтенного, влиятельного человека. Все рассеялось при разделах, утекло на разные нужды. Мне досталась лишь опись, чтобы мечтать о былом.

В этой приятной обстановке Луиза Дрюон, по-прежнему красивая и неизменно в сопровождении пары шоколадных пуделей, дополнявших ее облик, держала литературный салон. Она страстно любила музыку, поэзию, была весьма в курсе того, что тогда

публиковали, и отнюдь не возражала, чтобы у нее велись философские беседы хорошего тона. А также угадывала и ободряла таланты.

Думаю, что Огюст Анжелье, университетский деятель, сделавший изрядную часть своей карьеры в Дуэ, частенько посещал улицу Блан-Мушон. Как поэт, он заслуживает меньшего забвения, хотя бы ради ста шестидесяти сонетов «К потерянной подруге», составивших одну из самых прекрасных и скорбных песен любви, что произвел наш язык.

Этот провинциальный салон привлек к себе и несколько парижских знаменитостей, таких как художник Каролус-Дюран в апогее своей известности. Не стоит пренебрегать портретами его кисти, лучше присмотреться к ним внимательнее. Однако из всех посетителей по-настоящему прославится только Жорж Фейдо, чьи пьесы, настроенные на смех, словно часовщиком, до сих пор выручают театры, испытывающие затруднения.

У Эмманюэля и Луизы Дрюон было трое детей. Старшая дочь Элен вошла в семью Легран, владевшую обширными землями близ бельгийской границы. Младшая Жермена, которая унаследовала красоту матери и вдобавок обладала порядочным талантом к интерьерной живописи, замуж так и не вышла. Между двумя дочерьми в 1874 году у четы Дрюонов родился единственный сын Рене.

Жизнь семьи протекала счастливо вплоть до войны 1914 года и вторжения германских войск. Эта оккупация почти забыта, поскольку задела лишь северные и восточные области Франции, с незапа-

мятных времен открытые разрушениям и несчастьем. Но то были четыре ужасных года. Эмманюэль Дрюон не пережил их, а его жена подхватила грудную болезнь, лечить которую ее отправили в швейцарские горы, где она вскоре и скончалась.

Когда в 1918 году их сын вернулся с фронта в семейный дом, откуда недавно съехал немецкий штаб, то обнаружил, что портрет генерала Порьона пробит штыком — прямо в сердце.

VIII

ЧЕЛОВЕК ЧЕСТНЫЙ, ВЕРНЫЙ И ПРЯМОЙ

Когда меня привели к нему в первый раз, он пристально рассмотрел мой ужасный светло-зеленый бархатный костюм с батистовым воротничком, в который меня выряжала бабушка и который я ненавижу, потому что чувствовал себя в нем похожим на девчонку... Потом взял меня за руку и, с признательного согласия моей матери, отвел в английский магазин на Больших бульварах.

Я вышел оттуда весь в твиде и похожий — от кепочки до башмаков — на маленького британского школьника.

Это был первый подарок, который он мне сделал, и начало установившегося меж нами общности. Он отнесся ко мне как к мальчику, то есть как к будущему мужчине. Вместе с ним в моей жизни впервые появилось что-то по-настоящему мужское.

В то время Рене Дрюону было почти пятьдесят, но он еще отличался редкой красотой: голова и овал лица совершенной формы, четкое телосложение, хорошо прорисованные черты и голубые «со стальным отливом» глаза, которые он унаследовал от ма-

тери. От всего его существа — профиля, походки, манеры держать себя — исходило впечатление силы и изящества. Впрочем, он достаточно заботился о своей внешности. Этот состоятельный провинциальный буржуа одевался у модных портных с улицы Риволи и Вандомской площади.

Он наверняка многих обольстил. Я обнаружил в его бумагах немало женских фотографий — красивые подружки времен молодости, легкие увлечения или более глубокие влюбленности. Я даже познакомился с двумя из них, когда они уже стали дамами зрелого возраста, но все еще сохраняли отблеск своих былых прелестей. То были: дочь Жоржа Фейдо Диана Валентина, своими повадками немного напоминавшая амазонку, и Анриетта Фукье, которая стала графиней де Мартель, выйдя замуж за знаменитого нейрохирурга. Обе бросали на своего друга Рене взволнованные воспоминаниями взгляды.

Он был превосходным наездником, как в скачках с препятствиями, так и в псовой охоте, а также довольно хорошим альпинистом; около 1900 года его чуть было не внесли в книгу восхождений на Монблан.

Проведя несколько лет в Англии под конец Викторианской эпохи (в основном чтобы приобщиться к коммерческим делам, хотя без особой пользы), он скучал по этой стране. В его памяти сохранился Лондон, где он жил в Найтбридже, английская деревня, английские сады, английские лавки.

Как многие люди его поколения, Рене Дрюон семь лет провел в армии; сначала три года в артиллерии, поскольку таков был срок воинской служ-

бы в то время; потом прошел всю войну 1914–1918 годов, записавшись добровольцем с первых же дней. Но по какой-то причине, объяснения которой мне так и не удалось от него добиться, он упрямо отказывался стать офицером, предпочитая оставаться сержантом. Наверняка ему претило командовать, быть ответственным за смерть других. Эту ужасную, нескончаемую, топтавшуюся на месте войну грязи и гекатомб он проделал в одиночку, связным-велосипедистом двух маршалов Франции, Фейоля и Франше д'Эспере, которые его ценили.

Так же как от офицерских нашивок, отказывался он от благодарностей в приказе и от крестов, которые выполненные им задания вполне оправдывали. По меньшей мере два раза предлагал вместо себя товарищей: «Пусть лучше наградят такого-то. Он сделал не меньше меня, но у него жена и дети. Им это будет приятно».

Передо мной на письменном столе единственное осязаемое свидетельство тех четырех ужасных лет — его солдатская зажигалка, сделанная из медной гильзы маленького английского снаряда.

Хотя этот суровый человек (и в конечном счете изрядный мизантроп, но без всякой напускной угрюмости) никогда не признавал собственных заслуг, такие основополагающие нравственные ценности, как честь, порядочность, искренность, прямота, долг, любовь к родине, были неотделимы от него. В некотором роде он был иллюстрацией категорического императива. Лгать нельзя, потому что нельзя, и точка. Он не украл у государства и почтовой марки.

Мысль покупать что-либо в кредит, а тем более в долг или на заем, была ему совершенно нестерпи-

ма. «Я плачу *наличными*». Этот короткий девиз, который он охотно повторял, словно тот был украшением его родового герба, в итоге дорого ему обошелся.

Довольно удивительная черта для человека, вышедшего из финансовой буржуазии: он не обладал ни даром, ни вкусом к делам, будь то даже ради надзора за собственными средствами. Наследственность тут ни при чем. Презрение или неспособность? Наверняка и то и другое. Он не настолько углубил свои знания в юриспруденции, чтобы взять на себя отцовское дело, хоть и весьма процветавшее. Предприятия, в которых он стал компаньоном своих друзей ровесников, большого успеха не имели, как и компания с великолепным названием «Сельскохозяйственное общество Тан-Туи-Ха», располагавшаяся в Марселе и Сайгоне. Он был в ней генеральным секретарем, но с Дальнего Востока получил только ветер.

Акции, составлявшие портфель его ценных бумаг (и которые биржевые шквалы развеют, как пыль), были совершенно характерны для духа того времени, склонного к разработке далеких богатств: оклахомская нефть, донецкий каменный уголь, силезские цинковые рудники, суматранский каучук, мексиканский государственный долг, трансваальский «Голд майнинг», «Бритиш мотокэб компани» и венец всего — панамские выигрышные бонусы. Солидные ценные бумаги были представлены трехпроцентными облигациями, слывшими хорошим вложением для отцов семейств. Но и они медленно таяли, как снег ледников, под воздействием неуклонного обесценивания денег.

Я видел целые чемоданы, полные изумительных ценных бумаг, настоящих шедевров графического искусства — плотных, глянцевых, с арабесками и виньетками, но стоимость которых не оправдывала даже издержки на их хранение.

Какой странный паралич поражал этого человека при виде банковской корреспонденции! А ведь он был воспитан в нотариальной пунктуальности. Можно было по десять раз запрашивать у него расписку о получении выписки со счета, доверенность на продажу или на восполнение убытка, понесенного из-за войны, поручение на покупку дополнительных акций для увеличения капитала — в общем, все то, что требовало лишь простой подписи. Он умудрялся даже просрочивать чеки, поленившись сделать передаточную надпись, причем как раз тогда, когда сам же в этом крайне нуждался.

Другой его слабостью была несколько чрезмерная привязанность к своим дворянским корням, ради чего он вытащил из забвения фамилию де Реньяк, которую никто уже больше не носил. Но эта черта была свойственна многим почтенным буржуа его поколения.

Наконец, в его поведении наблюдалось некое противоречие. У этого столь совершенно и элегантно вежливого человека, отличавшегося к тому же большим самообладанием, порой случались без всякой видимой причины внезапные и яростные вспышки гнева, бури всего в несколько минут, но за это время успевали прогреметь все ругательства кавалерийского манежа. Наверняка это было разрядкой, необходимой властному, юпитерианского склада человеку, который чем-то раздосадован.

В остальном же — с первой нашей встречи и до его последнего вздоха — моя память хранит образ человека исключительно благородного, верного и прямого.

Где он повстречал мою мать? В кафе «Режанс», известном с XVIII века и располагавшемся в самом начале улицы Фобур Сент-Оноре, напротив «Театр-Франсе». Оно было парижским эквивалентом кафе «Греко» в Риме или «Флориан» в Венеции и сохраняло убранство времен Директории. В юности я видел там столик, за которым частенько играл в шахматы молодой генерал Бонапарт. «Режанс» более не существует. Жаль, что оно не было объявлено историческим памятником.

Чаще других его посещали люди из театральных и литературных кругов. Там назначали встречи крупные пайщики «Комеди Франсез» и преподаватели Консерватории со свитами любимых учеников. Драматурги обсуждали состав исполнителей или мизансцены своих пьес. Молодые актеры, да и старые тоже, показывались там, ища ангажемента. Как только опускался занавес, строчили свою завтрашнюю статейку критики, пристроившись за одноногим круглым столиком с чашкой вербены. Вечерами генеральных репетиций сюда стекалось парижское общество и, вертя головами, высматривало за тем или иным столиком мимолетных кумиров и сильных мира сего на тот момент.

Сын нотариуса из Дуэ, увлеченный театром, как многие провинциалы со средствами, и располагавший снятыми почти на год апартаментами в отеле хорошего тона, всего в двух шагах оттуда, на улице Эшель, часто приходил поужинать в «Режанс» после спектакля. Всегда в вечернем костюме, чаще всего

один за столиком, сдержанный и красивый настолько, что его невозможно было не заметить... В общем, он интриговал.

Судьбе оказалось угодно свести его с моей матерью, и между ними словно ударила молния. Они нашли друг друга, придя из такого далека!

Она привлекла его своей пылкой молодостью, обворожительной наружностью, экспансивной и лирической натурой. К тому же ее темнокудрую головку осенял отблеск сцены и престиж театральной карьеры, на которую она еще надеялась.

Он же в ее глазах воплощал собой силу, стабильность, надежность и был окружен ореолом респектабельности и богатства — на самом деле уже весьма умеренного. Он недавно потерял свою мать.

Быть может, оба, каждый по-своему, относительно собственного положения, почувствовали, как это говорят, потребность остепениться.

Но все же это был не тот выбор, которого могли ожидать в их окружении. С точки зрения театрально-литературной богемы, где вращалась моя мать, она собиралась обуржуазиться. А для дуэзийской родни избранница на двадцать лет моложе, актриса, разведенная, да еще и с ребенком на руках, была просто противоположностью желательной супруги. Все, кто желал им добра, но чья привязанность была немного ревнивой, полагали, что это всего лишь приключение на один сезон. Однако оно обернулось долговременной любовью.

Рене Дрюон терпеть не мог излишней чувств и слащавой сентиментальности. Его письма к моей матери были редкими и краткими. Я из уважения сохранил несколько, относящихся к началу их свя-

зи. Они нежны, но без вздора. Написаны мужчиной, который любит с достоинством.

Вскоре, не покидая свою гостиницу на улице Эшель, он нанял на имя моей матери временное жилье в XV округе, но не потому, что этот район нравился ему больше, а чтобы она была ближе ко мне — я ведь по-прежнему обитал у бабушки.

Нижний этаж выходил на спокойную улицу, правда, порой там проезжали запряженные лошадьми грузовые подводы, еще многочисленные в ту эпоху.

Однажды, когда по мостовой грузно рысила пара першеронов, таща тяжелые ломовые дроги, я беспечно побежал через улицу с риском угодить под их копыта. Тот, кого я тогда звал Мун, потому что еще не умел называть иначе, догнал меня в три прыжка и поймал за шиворот. Он так сильно разволновался, что отвесил мне затрещину, памятную во всех отношениях. Этот жест был первым проявлением родительского авторитета.

IX

ЛЕТО В ЭЛЬЗАСЕ

Эльзас был синим. Бесконечно ясная синева неба над его огромной равниной. Его чернильно-синие, вылощенные солнцем пихтовые леса. Сине-фиолетовая черника. Мун взял нас с матерью в Эльзас на целое лето — лето моего шестилетия. Свежий утренний воздух был восхитителен, спокойная жара августовских дней чудесна. Память рисует мне маленькую, сверкающую чистотой гостиницу на склоне Вогезов, между Селестой и Сент-Мари-о-Мин, на берегу очаровательной речки, которая называлась Льеппретт.

На некотором расстоянии от деревни возвышался Шальмон, то есть Карлова гора, чью вершину, образованную огромной, плоской, как стол, скалой, оведала легенда, восходящая к Карлу Великому.

Рене Дрюон, превосходный ходок, уводил нас своим ровным шагом альпиниста в прогулки по вогезским кручам (которые там называют «баллонами») — на восемь, десять, а то и двадцать километров. Мои ноги к ним привыкли; порой я брюзжал, но, когда меня обули в подбитые гвоздями башмаки и снабдили маленькой палкой, это доставило мне некоторое удовольствие.

Обостренный летним зноем запах хвои, гудение насекомых, серебристые ручейки, в которые мы окунали руки, словно пытаясь зачерпнуть оттуда прохладу; разнообразная и спокойная природа — все откладывалось во мне впечатлениями, становилось вехами. Просто чудо — через восемьдесят лет обнаружить эти воспоминания совершенно нетронутыми.

Нам случалось наблюдать в лесах удивительную работу *шилттеров*, спускавших по крутым склонам, упираясь пятками в ступени из кругляка, груз неокоренных бревен в своеобразных санях, которые они удерживали спиной. Видеть, как эти силачи наполовину запрокидываются назад, выгнув поясницу и напрягая мускулы, было одновременно потрясающе и тревожно.

Однажды, когда мы шли через ущелье, нас застигла чудовищная гроза, какие разражаются летом в горах. Ужасающий и великолепный гнев Вселенной. Черные, пронизанные молниями тучи мчались друг за другом по небу, словно атакующие дикие звери. Высокие, поросшие елями утесы вспыхивали, как охваченные пожаром соборы, а через миг снова погружались в адскую ночь. С неба низвергались водопады, грохоча, будто гром, и превращая тропинки в потоки.

Промокнув насквозь, мы нашли укрытие в крестьянском доме, где смогли обсушиться. Поскольку гроза затягивалась и не было никакой возможности снова пуститься в путь, гостеприимные эльзасцы пригласили нас остаться. В этом совсем простом, но выскобленном и навощенном до блеска доме при свете керосиновой лампы и веселого огня в очаге

нам подали ужин — отличный суп, яйца, нежную ветчину и вкуснейшее варенье. Потом мы заснули на льняных, приятно пахнувших недавней стиркой простынях, в глубоких кроватях, наверняка хозяйских.

Это была моя первая гроза. Утром омытая дождем природа блестела на солнце.

Тем же летом мы посетили достопримечательности, оставшиеся в Эльзасе после трех четвертей века германского господства. Эта провинция всего шесть лет назад снова стала французской и еще не успела этому порадоваться. Женщины наряжались (и не только по праздникам) в платья с традиционной вышивкой и головные уборы с широкими черными крыльями, украшенные трехцветной кокардой. Обернэ, Мольшем с их свежепокрашенными фахверковыми домами и гнездами аистов на крышах казались тогда гораздо менее фольклорными, чем сегодня. Они вполне соответствовали эльзасскому образу жизни, каким его изображали произведения «дяди Ганси» поколениям французских школьников. Утраченные провинции!

Но ценой каких страданий и жертв пришлось оплатить их возвращение!

По склонам Вьолю, одного из самых ужасных полей сражений, простирались, насколько хватало глаз, только стволы обезглавленных, наполовину срезанных деревьев — бесконечные ряды обгорелых черных свай. Земля тут была до такой степени наспигована снарядами и шрапнелью, что на ней еще не выросла никакая растительность: ни малейшего пучка травы, ни кустика падуба, ни мха. Мертвая земля. Сколько человеческой крови выпил этот

адский пейзаж! Тот, кто день за днем все больше становился моим отцом, задумчиво смотрел на него, но молчал о своих воспоминаниях.

Замок О-Кенигсбург, перестроенный с размахом каким-то немецким Вьоле-ле-Дюком* по приказу Вильгельма II, который желал показать этим свое могущество.

Гора Сент-Одиль с ее девятисотлетней монастырской обителью, перед которой разворачивается вся Эльзасская равнина; Страсбург с его розовым собором, и Кельский мост, и берега Рейна... Именно тут я начал учиться любить Францию — так, как ее надо любить.

Дорогой Эльзас! Судьба вновь приведет меня сюда в поворотные часы моей жизни.

* Эжен Вьоле-ле-Дюк (1814–1879) — французский архитектор, реставратор, искусствовед и историк архитектуры, идеолог неоготики. Его опыты практической реставрации вызвали множество упреков и обвинений в том, что он попросту уничтожает подлинные памятники, возводя вместо них приукрашенные новоделы.

Х

ОТЕЦ — НАКОНЕЦ-ТО!

Марсилио Фичино, которого мы во Франции называем Марсиль Фисен, гуманист огромного масштаба, вдохновивший всю эпоху Возрождения, ссылался на миф о «дважды рожденном» боге Дионисе, утверждая, что тоже родился дважды, поскольку имел двух отцов. Первым был породивший его врач Фичино, а вторым — Козимо Медичи, который покровительствовал ему в юности и стоял у истоков его карьеры.

Все, кто, подобно мне, имел родителя, а потом воспитателя, могут, по здравом размышлении, сказать то же самое.

Мое второе рождение осуществилось, когда мне было семь лет.

Однажды мать сказала мне немного торжественно: «Теперь у тебя вместо Сибера будет Мун. Это тебе от него большой подарок. Иди поцелуй его и назови папой».

Рене Дрюон только что узаконил их союз в парижской мэрии. Акт бракосочетания сопровождался тем, что называют «признанием отцовства»: я официально становился его сыном. С этого момен-

та моей будущей жизни предстояло совершенно измениться.

Я без всякого затруднения начал по-новому обозначать этого человека, которого любил, кем восхищался и чей естественный авторитет вполне признавал. Я сам ждал, втайне конечно, что так оно и будет. Отец — наконец-то!

Имя Сибер перестало произноситься; только мать, бывало, изредка и вскользь намекала на него, да и то лишь когда оказывалась со мной наедине. Это был всего лишь еще один секрет, сокрытый в глубине моего существа, который отличал меня от других детей, но не вытаскивал из их круга.

Я с удовольствием упражнялся в написании своей новой фамилии и заполнял целые страницы подписями. И без конца задавал своему отцу вопросы о его юности, родителях, предках. Он охотно удовлетворял мое любопытство. Мне еще предстояло понять, что этим я тоже делал ему подарок. Я доставлял ему радость передавать.

Так мне был привит Дуэ; но прививка происходила в нормандском окружении.

В самом деле, к тому времени мы уже несколько месяцев как обосновались в деревне. Мой отец, наверняка немного уставший от парижского безделья, предпочел ему праздность среди полей. И купил в долине Эра маленькую старинную ферму, которую превратил в очаровательное жилище. Он был первооткрывателем «благоустроенной фермы», то есть переделанной под загородный дом, что получило широкое распространение после Второй мировой войны.

Что касается моей матери, то она, хотя я не был ни особенно хил, ни хрупок, сумела истолковать ме-

дицинскую рекомендацию как категоричное предписание: вывезти меня за город, чтобы я жил на свежем воздухе. А отсюда до того, чтобы убедить себя, будто она жертвует ради моего здоровья своим артистическим будущим, оставался всего один шаг. И она не замедлила его сделать, поскольку увидела в этом достойный выход для своей карьеры, которая в последнее время доставляла ей одни лишь разочарования.

Так что она предпочла удалиться навстречу уединенному полевому счастью, которое ей предложили, а сумев построить его и оценить, всегда охотно признавала, что это были самые лучшие, самые счастливые годы ее жизни.

Благословляю Небо и моего отца за то, что подарили их ей, ибо из-за превратностей жизни и собственной беспокойной души других ей даровано не было.

XI

ДЕРЕВНЯ БЫЛЫХ ВРЕМЕН

Это место уединения оказалось не таким уж далеким. Оно называлось Ла-Круа-Сен-Лефруа (сокращенно Ла-Круа) и было честной деревней в сотне километров от Парижа, не больше. Сегодня, когда все расстояния сократились, это по соседству со столицей.

Но в то время три четверти ее обитателей никогда, хотя бы на один день, не бывали в Париже, да и не собирались там побывать. Автомобили были редки. А весьма медлительные поезда требовалось еще и менять раз или два, чтобы добраться до какого-нибудь очень скромного вокзала.

Люди, происходившие из другого департамента или хотя бы из соседнего кантона, обозначались там словом «пришлые». Нас и самих долго звали не иначе как «парижанами».

Деревня была приятная, ничем особо не живописная, но приятная. Дорога из Паси-сюр-Эра в Лувье, проходя через нее из конца в конец, принимала название Большой улицы. С перекрестка один путь вел к плато, в сторону Гайона и долины Сены; другой спускался к мосту через тихую речку Эр, что

течет, серебрясь среди лугов. От Средневековья тут осталась усадьба Кревкер, большая укрепленная ферма с двумя круглыми приземистыми башнями, где накануне битвы при Кошереле заночевал дю Геклен.

В глубине просторной площади — старая церковь с остроконечной, крытой сланцем колокольной и несколькими большими деревьями по бокам. Немного поодаль замок — бывшее аббатство времен Людовика XIII, весьма классическое здание из кирпича и камня, окруженное собственным парком. Построенная Третьей республикой мэрия-школа. И наконец, совсем недавний памятник павшим, где взору предстал отнюдь не убитый солдат на руках безутешной Отчизны, но всего лишь галльский петух, чьи бронзовые крылья простирались над длинным списком имен — свидетельством того, в какое количество крови обошлась мельчайшей коммуне Франции ужасная война 1914–1918 годов. Такой была Ла-Круа-Сен-Лефруа.

В одном из углов площади находилось кафе, по совместительству табачно-мелочная лавка, куда заходили купить марки, местную газету, конфеты и лакричные палочки. Чуть дальше торговал зерном и семенами человек с удивительной фамилией Келорум-Бельмер, у которого мешки с чечевицей, конопляным семенем и копченой селедкой громоздились рядом с погребальными венками в фиолетовых бусинах. Его сосед-столяр, худой и чахоточный, был также певчим и церковным сторожем, а заодно состоял в «Братях милосердия», иначе «человеколюбцев», вместе с которыми, облачившись в черную шапочку как у священника и расшитую серебром

перевязь, нес на похоронах носилки с мертвецами. Помню, как он рыдал, склонившись над верстаком, когда мастерил гробик своему последнему ребенку, умершему в колыбели.

С течением моей жизни мир становился все более шумным. Улицы, людские жилища, даже небо наполнились гулом, пронзительными звуками, эхом усиленных голосов.

В те времена деревня звучала гораздо тише. Болтовня кумушек у порога, звон молота из кузницы, гомон домашней птицы на заднем дворе, собачий лай, мычание скотины в хлеву. На берегах ручьев у самой воды болтовня прачек, перемежающаяся шлепаньем вальков по мокрому белью.

Один раз в неделю улицу оглашала хриплая труба «плантатора из Каиффы», разъездного бакалейщика. Очень редко появлялась пара верховых жандармов, объезжавших рысцой округу.

Два раза в год, за три дня до Вознесения и на праздник Тела Господня, пение процессий, медленно двигавшихся по усыпанным листьями ириса и полевыми цветами дорогам от одного временного алтаря до другого, где устраивали молебен об урожае; факельное шествие 14 июля во главе с тощим духовым оркестром пожарных; несколько мотивчиков, вырвавшихся с танцев в субботу вечером, — вот и вся деревенская музыка.

Стоило пройти метров сто влево или вправо от Главной улицы, и вокруг уже расстилались поля или засаженные яблонями луга.

Я многое узнал в этой нормандской деревне. Узнал вещи простые, но важные, которые почти бессознательно откладываются в душе и остаются

там как постоянные ориентиры. Я узнал чередование времен года, набухание почек на фруктовых деревьях, долгожданное появление цветов в садах, пьянящий запах сенокоса, вибрирующее насекомыми летнее оцепенение, бурые, жирные борозды пашен и хрустящий ледок на лужах зимой. Я узнал бесконечное разнообразие оттенков неба, переменчивость облаков, ласку мелкого, пронизанного солнечными лучами дождя, горячий запах бредущих к водопою животных и внезапное ненастье, от которого опускаются плечи. Наблюдая за движениями крестьян, я приобщился к некоему многовековому наследию, и такое хоть и затертое, но незаметное выражение, как «земля Франции», обрело для меня свою плоть и истину.

Я узнал также, какое невероятное количество различных трав может произрастать на этой земле — стоит только всмотреться в нее, лежа на лугу. На клочке не шире двух ладоней умудряются существовать двадцать, а то и тридцать разных видов. Вот тогда-то я и начал восхищаться многообразием природы, изобилием форм и красок, которыми может облекаться жизнь. Тайна мироздания не абстракция. Мне предстояло расти среди этой природы целых пять лет.

Наше жилище было не лишено приятности.

Низкие, увенчанные черепичным навесом ворота вели в продолговатый двор, окруженный каменными или фахверковыми постройками: довольно скромный хозяйский дом, домик сторожа, сараи, риги, сеновалы. Через сводчатый проход в глубине двора можно было попасть в небольшой садик, по-

ставлявший цветы в течение почти всего года, потом в огород, потом во фруктовый сад, засаженный вишневыми, персиковыми, грушевыми деревьями, и наконец выйти на большой луг с несколькими округлыми яблонями, окаймленный живой изгородью из орешника и боярышника.

Старинная обстановка, доставшаяся от раздела дуэзийского наследства, со всеми этими «приписывается Кранаху», «приписывается Микеланджело» заняла место в жилых комнатах, несколько контрастируя с их скромными размерами.

Вскоре двор был обсажен кустами карликовых или ползучих роз и заселен белыми голубями-павлинами, которые что-то выклевывали между камешков, распустив хвост и воркуя.

Помню, как в день нашего приезда я нацарапал дату и свое еще не изменившееся имя на оштукатуренной стене между двором и садами. Всего несколько штрихов, сделанных острым камешком, которым к тому же предстояло исчезнуть при первой же чистке. Но сам жест врезался в мою память. Он кажется мне достаточно необычным для семилетнего ребенка.

Я получил комнату на втором этаже, обставленную мебелью в стиле ампир. Кровать красного дерева с окольцованными бронзой колонками служила моему отцу в течение всей его юности. Теперь ей предстояло послужить мне.

Из моего нормандского окна открывался широкий полевой пейзаж. За последними крышами деревни тянулся длинный косогор, золотившийся в пору жатвы под необъятным небом. По этому косогору поднималась заросшая травой тропа, закан-

чиваясь красивым каменным алтарем. Как говорили, там остановился святой Уан.

Долгими днями, когда меня отсылали спать еще до захода солнца, я порой глядел на этот кусочек вселенной с таким чувством, будто передо мной всего лишь театральная декорация, огромная иллюзия.

Чувство нереальности внешнего мира — явление частое и, будь оно мимолетным или длительным, охватывает нас, когда мы меньше всего этого ждем. Не был ли я слишком юн, чтобы уже испытывать его? Но как раз потому что я был так юн, оно и не сопровождалось никакой тревогой. Наоборот, наполняло меня восторгом.

В конечном счете мы жили простой и спокойной жизнью.

Домашние работы обеспечивала команда служанок; всех их звали Мари.

Старшая, Мари Рушон, была родом из Оверни и долго служила моей бабушке с материнской стороны. Она знала мою мать еще ребенком и порой невзначай тыкала ей.

Остальные Мари были местные, из деревни. Впервые, Мари Тюрлюр, высокая внушительная матрона. Летом она пропалывала сад, являясь туда в соломенной шляпе, с деревянными граблями на плече и затянутая поверх своего фланелевого халата в объемистый тиковый корсет с цветными узорами, похожий на доспех. Мари Пьедешьен полировала серебро и медь. Мари Жейлан по прозвищу Глухая Мари, следившая за бельем, опрометью бросалась исполнять любой приказ, правда не расслышав его. Мари Вале, анархистка, у которой духу не

хватало даже зарезать цыпленка, ворчала, возя тряпкой по плиткам пола, что «надо все подпалить и начать с нуля».

Все были одеты в темные рабочие халаты и белые передники. И у всех волосы уже начинали сесть. Можно было подумать, что это обитель бегинок.

Мой отец по-прежнему любил ходьбу. Каждый день, с тростью в руках и в твидовых или бархатных бриджах, которые носил с непринужденностью, он водил нас к соседним хуторам или деревням. Наша собака, эльзасская овчарка, вертелась вокруг нас, как вокруг стада. Дороги, ни большие, ни малые, тогда еще не были заасфальтированы, так что мы шагали по золотистым проселкам с заросшими травой обочинами.

Вечером у большого крестьянского камина в комнате при входе, где мы собирались охотнее всего, отец читал мне вслух, и делал это хорошо. Он начал с Робинзона Крузо, и через месяц, когда книга была окончена, мне стало грустно, как при расставании. Потом перешли к графине де Сегюр, урожденной Ростопчиной, в томах Розовой библиотеки: «Жан-ворчун» и «Жан-хохотун», «Трактир “Ангел-Хранитель”», «Несчастья Софи». Я жил с персонажами, которыми важная русская дама населила воображение стольких детей: г-н Абель, обитатель гостиницы «Мерис»; толстый генерал Дуракин, вылезавший из своей коляски посреди нормандских полей; ослик Кадишон с мягкими длинными ушами.

О мадам де Сегюр написаны целые ученые исследования; даже прибежали к психоанализу, что-

бы объяснить частоту пороков в ее романах. Эта дама хорошо писала, и ей нравилось описывать жизнь своей эпохи, особенно в именах. У нее пространственные диалоги и немало театральности. Ее мораль тоже в духе своего времени: плохие должны быть наказаны, хорошие вознаграждены, бедняки получить помощь, а несправедливости исправлены. Но социальная иерархия никогда не подвергалась сомнению — она сама собой разумелась.

Именно эту мораль, хотя она и восходила ко Второй империи, по-прежнему внушали детям моего поколения. Даже с одеждой персонажей, делавшей иллюстрации особенно выразительными, не было настоящего расхождения. Дамы, правда, больше не носили кринолины, а девочки пышные исподние панталончики с фестонами. Но мальчики по-прежнему обнажали голову перед взрослыми и говорили с ними весьма вежливо, никогда не опуская «мсье» и «мадам», когда те к ним обращались.

Потом мы взялись за Жюль Верна. В прекрасных книгах коллекции Этцеля в красном с золотом переплете мне вместе с континентами открывались мечты о будущем, полном подвигов и приключений. «Мишель Строгов» («смотри во все глаза, смотри»), «Дети капитана Гранта», «Робур-завоеватель», «Двадцать тысяч лье под водой»... Мне предстояло увидеть воочию, как осуществляются фантазии этого гениального предвестника, этого оседлого путешественника, который, побывав театральным секретарем, фельетонистом и биржевым маклером, уже никуда не двигался из своего доброго города Амьена.

Чтение вслух быстро вызвало у меня голод к чтению, который на протяжении всей моей юности будет настоящим обжорством.

Вместе с тем пришло и желание писать самому. В семь лет я полагал, что сочинил поэму, в которой на самом деле было всего четыре стиха, а в восемь произвел свой первый роман, уместившийся на шести страницах. Он повествовал о морской битве в китайских морях и завершался переключкой мертвецов на борту броненосца. Начинают как могут. Я начал с эпоса. Но мне немного не хватало материалов.

Нормандия, Нормандия... Ближайшим к нам городом был Лувье с его прекрасной готической церковью, вокруг которой каждую неделю устраивался рынок. Большую часть своих местных поставщиков мои родители завели там. Реже мы ездили в Эвре, главный город департамента с ровными и спокойными улицами. Совершенная провинция. Мы там обедали в гостинице «Большой олень». Иногда добирались до Небура, крупной деревни, лежащей среди тучных пашен и пастбищ на обширном плато, увы, часто поливаемом дождями. Ярмарка там устраивалась каждую неделю, и тоже вокруг церкви, старинной и приземистой. Фермеры, скотоводы, перекупщики, все в синих блузах, как бывшие крестьяне Мопассана, держались среди своих коров и телят, обсуждали цену в луи и шли заключить сделку за чашкой сидра в трактире «Солнце». Бывало, что зимой в Небур навевалось стадо диких кабанов, которые разбредались по улицам и да-

же проникали в пекарню к булочнику или в лавку зеленщика. Таковы были окрестности.

Одним из наших развлечений были также аукционы, «распродажи», как их называют в Нормандии, которые устраивались по воскресеньям в сельской местности — в усадьбах, буржуазных домах или на простых фермах. Отец любил посещать их и со своим вкусом к вещам покупал там какой-нибудь комод, чтобы дополнить обстановку гостевой комнаты, или двухсотлетний стол, который намеревался поставить под навесом для летних трапез.

Я все еще храню и регулярно завожу большие часы в стиле ампир, приглянувшиеся ему своим серебряным футляром и приобретенные за пять франков.

Но до чего же грустно было видеть, как вся эта выставленная во дворе мебель, домашняя утварь, стенные часы, кровати, постельное белье, орудия, все это убранство жизни уходило под стук молотка комиссара-оценщика! И сколько ненависти вспыхивало порой между матерью и невесткой, между братьями, между теткой и племянницей — между наследниками, не сумевшими договориться тайком при разделе. Порой они сами хотели выкупить то, что из-за несогласия были вынуждены выставить на распродажу, и упрямо торговались друг с другом, набивая цену за какой-нибудь пустяк, ночной столик или подсвечник, который связывал их с детством. А потом кто-то в конце концов уступал, со слезами гнева на глазах.

Какой контраст между этим деревенским миром и Парижем, куда мы наезжали лишь два-три раза

в год, на несколько дней! Мои родители виделись там со своими друзьями и делали сезонные покупки.

С балкона то ли портного, то ли сапожника моего отца я глазел, как по улице Риволи проезжают длинные частные машины — «испано-суизы», «ми-нервы», «панары», «хотчкисы», на которые сегодня смотрят как на реликвии в автомобильных музеях.

В потоке уличного движения, уже затрудненного пробками, порой можно было увидеть узкие двухместные кареты, запряженные лоснящейся лошадью и с кучером в цилиндре, поскольку в некоторых частных особняках Левого берега или Мюэта еще оставались состоятельные пожилые люди, сохранившие конюшни и упрямо не желавшие менять цивилизацию.

ХП

ЛЮБОВИ, НАСЛАЖДЕНИЯ И ОРГАНЫ

Целью одного из таких приездов в Париж стало посещение Выставки декоративного искусства, устроенной в 1925 году вдоль Сены, между мостом Альма и дворцом Трокадеро. Родители взяли туда с собой и меня. Это была первая большая выставка по окончании войны, и она ознаменовала собой целую эпоху. Во-первых, своим названием, поскольку термин «декоративное искусство» до этого отнюдь не был распространен; а во-вторых, потому что стала неким переломом во вкусах.

Там появились новые формы, новые материалы. Светлая, гладкая мебель красивых очертаний, ровные полированные металлические поверхности, лаковые изделия Дюнана, стекло Лалика. Чисто геометрические формы начали возобладать над резьбой и украшениями. Тут порвали с перегруженным стилем Третьей республики и вступили на путь строгости и простоты, который, впав в другую крайность, приведет нас к угловатой прямолинейности, к агрессивным, бесчеловечным металлам, к однообразным, холодным или резко контрастным цве-

там, ко всему тому, что составило обыденность декоров в конце прошлого века и в начале нынешнего.

Моим родителям было особенно любопытно взглянуть, что придумал великий кутюрье Поль Пуаре.

Я уже упоминал этого друга моей матери, чье имя вписано в историю моды и нравов.

Не удовлетворившись, как прочие участники выставки, навесом или стендом, он решил декорировать три пришвартованные у набережной просторные баржи. А в качестве названия выбрал три французских слова, которые в единственном числе относятся к мужскому роду, но во множественном — к женскому: *Amours, Delices, Orgues* — Любви, Наслаждения и Органы. Выставленные там образчики роскоши были отнюдь не наименее оригинальным из всего, что выстроилось чередой вдоль реки. Посетители хлынули туда потоком, и Пуаре принимал их в белом альпаковом пиджаке, величественным шагом переходя с одной баржи на другую.

Он был своеобразной личностью. Выглядел персидским сатрапом: полные щеки, обрамленные короткой бородой, большие светлые глаза навывкате, лицо древнего императора. Впрочем, он владел персидским бюстом, наверняка эпохи Селевкидов, поразительно похожим на него, вплоть до легкой впадинки на одной стороне черепа. Она у него была врожденной. Что даже наводило на мысль о реинкарнации.

О Поле Пуаре много писали. И еще будут писать. Этот человек неисчерпаем.

Он был сыном суконщика и уже в детстве проявил склонность к рисованию платьев. Рано посту-

пил к Дусэ, первому кутюрье эпохи, и стал первым модельером в его ателье на улице де ля Пэ. Аристократическая клиентура там чуть не дралась из-за него, настолько ее очаровывали его оригинальность и внимание. Он проявлял замашки гения.

Пуаре одевал для сцены великую Режан. Одевал Сару Бернар для «Орленка». Вскоре он приобрел достаточную известность, чтобы открыть собственный дом мод в частном особняке квартала Сент-Оноре. Там он совершил настоящую революцию, упразднив корсет, этот панцирь из китового уса со шнуровкой на спине, в котором задыхались многие поколения дам. Даже Клемансо поздравил его с этим освобождением женщины.

Пуаре создал одежду для каждого часа дня и для всех обстоятельств жизни: от придворного бала до спорта. Правда, он не поладил с Церковью, изобретя широкие женские брюки.

Его успех был колоссальным. Носить платье от Пуаре считалось свидетельством элегантности. В 1910-х годах заказов у него было, наверное, на миллион франков золотом. Он был щедр и любил блеснуть, а потому устраивал костюмированные празднества; во-первых, чтобы упрочить свою известность, а во-вторых, из склонности восхищаться — как других, так и самого себя. В этом тоже проявлялось его безмерное воображение.

На один вечер он превратил сад своего особняка в персидский базар, где, нарядившись султаном, принимал гостей в маскарадных костюмах.

Он снял у государства павильон Бютара в лесу Ложного Ответа и, отремонтировав, использовал как декорацию для триумфа Бахуса, мифологиче-

ского празднества, в котором отвел себе роль Юпитера. Шампанское там текло рекой.

На бал «Четыре искусства» он прибыл в облике Навуходносора на колеснице, влекомой сотней полуобнаженных женщин. Едва женившись, Пуаре заявил жене: «Только не прививайте мне склонность к бедности. Работать меня заставляет как раз склонность к богатству».

Он часто ей изменял, поскольку имел для этого все возможности, и в конце концов они расстались.

Ну конечно! О нем говорил Париж. И не только Париж, всемирная столица моды, но и весь мир. Поскольку он первым объехал Европу, взяв с собой девять манекенщиц и представляя свои коллекции вплоть до Санкт-Петербурга. В Соединенных Штатах он побывал десять раз и даже открыл филиал в Нью-Йорке.

Вдобавок он был меценатом, дружил с Дюфи, Ван Донгеном, Фужитой, Вламинком, Дюнуайе де Сегонзаком, Мари Лорансен. Да и сам обладал заметным талантом пейзажиста.

Поль Пуаре Великолепный денег не считал и даже не заглядывал в счета, полагаясь на своего верного администратора, который умудрялся совершать чудеса равновесия. Но после Великой войны экономические условия изменились, а Пуаре этого не заметил. И когда в 1923 году умер его администратор, это стало началом краха. Банки, уставшие от его сумасбродств, отказали ему во всяком новом кредите. Кредиторы набросились на марку и вырвали ее у создателя.

Пуаре делал все, чтобы еще казаться триумфатором. Но Любви, Наслаждения и Органы были всего лишь попыткой удержаться на плаву перед неизбежным кораблекрушением.

Они были театральны, эти три спасательных судна, задуманные как гигантские футляры для услад любви, стола и искусств.

Пуаре решил придать внутреннему убранству новую компоновку и новые цвета, порывая с привычками многих поколений буржуазии, для которых в мебели и ее расстановке каноном вкуса оставался XVIII век. Это с Пуаре начались низкие, широкие, глубокие диваны и одноцветные, белые или ярко-красные шелка...

Так и вижу его, широко, с величавостью эмира раскинувшегося на одном из своих диванов. И слышу, как он говорит моим родителям, воздевая нероновский монокль к большому голубому глазу: «Друзья мои, я разорен». Это было правдой.

Еще двадцать лет поверженный монарх, по-прежнему воображавший, что может отвоевать свой трон, упорствовал в своих утопических прожектах и финансовой акробатике, перемежая эффектные взлеты со все более драматическими падениями.

Он представил свои коллекции в крупные магазины, открыл бутик и снова был вынужден закрыть его, затеял выпуск справочника «Пан», опять проявив себя новатором, поскольку для рекламы предметов роскоши привлек известных живописцев и рисовальщиков своего времени, но вышел всего один номер. Его мемуары «Одевая эпоху» не лишены мастерства и остроумия, равно как и сборник забавных аллитераций «Пополоперо».

Пуаре начал строить на Меланских высотах, в месте, называвшемся Жибе, большой дом решительно модернистских форм и пропорций, которые после него можно встретить во всей частной архитектуре.

Но упадок в делах вынудил его остановить строительство. Мелан не слишком далеко от нашей нормандской деревни, и Пуаре порой заезжал за нами в большой американской машине, чтобы показать свой бетонный корабль, застрявший на холмах Ильде-Франса. Эта преждевременная руина уже заросла бурьяном. Единственной пригодной для обитания постройкой оставалась сторожка без сторожа, где Пуаре и ютился. Именно там, надевая большие маски из папье-маше, изображавшие осла, ворона, льва, собаку, аиста, он читал мне басни Лафонтена.

Позже Жибе будет приобретен Эльвирой Попеско и ее мужем графом Фуа, которые блестяще завершат мечту Пуаре.

А ему, попавшему в очередную черную полосу неудач, случилось даже разослать циркулярное письмо от имени объединения «Друзья Поля Пуаре», где «ввиду нынешних затруднений при сборе необходимого капитала» просили «каждого из искренних поклонников и друзей выдающегося художника сделать скромное пожертвование в 50 франков в обмен на обещание значительных преимуществ в ближайшем будущем (как то: приглашения, скидки и прочие льготы)».

Я мало знаю столь же патетичных текстов, как эта отдающая попрошайничеством страничка, ко-

торую написал человек, занимавший такое место в своем веке.

Во времена моего отрочества, когда мы жили в Кламаре, он порой появлялся, одетый как буржуа времен Луи Филиппа, чтобы занять несколько куню у моих родителей, которые тогда сами сидели на мели.

Мне еще довелось увидеться с Пуаре в Каннах, где он в конце концов нашел пристанище. Зная адрес его убогого семейного пансиона, я заглянул к нему, и он удержал меня на обед. Теперь он носил окладистую бороду, как у бретонского моряка, и был довольно сильно поражен старческой хорей*. Завораживающее зрелище. Его рот открывался, сильными толчками высывался язык. Чтобы взять ложку, ему приходилось удерживать свою правую руку левой; от этого усилия выпадал монокль, и рука снова отправлялась в путь, колотя по воздуху. Пока он ел, горошинки так и летали по комнате.

Я вспомню эту сцену, когда буду описывать конец банкира Шудлера в «Сильных мира сего».

Мы вышли на Круазет выпить кофе, за который он попросил меня заплатить, потому что в его кармане не было буквально ни гроша. Я разделил с ним скромное содержимое своего бумажника. Он пылко поблагодарил меня и тотчас же побежал, спазматически дергаясь, в казино, чтобы пережить там несколько мгновений нелепой надежды, проигрывая полученные от меня сто франков.

* Хорея — произвольные движения головы, шеи и т. д., которые, однако, не сопровождаются слабоумием.

Последний раз его видели на публике в 1944 году, раздавленного и дрожащего, в кресле галереи Шарпантье, которая организовала из милосердия выставку-продажу его полотен. Он умер через несколько недель. Таков был конец Пуаре Великолепного.

ХІІІ

ІЗ КЛАССА ПРИЗРАКОВ В ДЕРЕВЕНСКУЮ ШКОЛУ

В первые два года нашего житья в нормандской глубинке заботу о продолжении моего начального образования взяла на себя мать.

Это было ее собственное решение. Но сделала она это на свой, как всегда особенный, то бишь театральный лад.

Она выдумала для меня целый класс и населила его воображаемыми учениками, которым дала имена. Вооружившись школьным учебником, облаченная в особый наряд, который называла платьем школьной учительницы, она поднималась на маленькое возвышение и хлопала в ладоши, отмечая начало урока. Затем спрашивала по очереди иллюзорных детей, которыми окружила меня, делая вид, будто выслушивает ответы, собирала тетрадки, в том числе и мою, единственную осязаемую, кому-то ставила хорошие отметки, кого-то отчитывала. Я увлекся этой игрой. Мои призрачные одноклассники обрели некое подобие реальности: я ревновал, когда они получали отметки выше, чем у меня, и раздражался, когда их хвалили, но это ме-

ня только подстегивало. Мать дошла даже до того, что устроила распределение наград — под навесом, между кустами роз.

Позже я растрогал немало материнских сердец, рассказывая эту историю, а какое-то время и сам был ею растроган.

Но если приглядеться к ней внимательнее, то обнаружится, что исполнение роли учительницы было для моей матери своего рода компенсацией. Она вновь становилась актрисой, и это порождало сцену, где я был одновременно послушным партнером, подававшим ей реплику, и ее единственным зрителем. Однако такое сообщничество в вымысле, такое замыкание матери и сына в крошечном иллюзорном мирке могло иметь не только счастливые последствия.

То, чему учил меня отец, восстанавливало равновесие и возвращало меня к действительности.

Дети — резонеры, и они нарочно пытаются загнать взрослых в тупик, изводя их своими бесконечными «почему». Почему надо делать это, почему надо делать то? Почему нельзя лгать?

Мой отец умел положить предел этим пустым словопрениям: «Потому что так надо». — «А почему так надо?» — «Потому что если не уймешься, получишь затрещину».

Он ознакомил меня также с начатками английского языка и французского бокса — ему казалось, что эти два навыка дополняют образование.

Моя мать, хорошо игравшая на фортепьяно, захотела и меня приобщить к этому инструменту. Но тут уже незачем было изобретать мне соперников, они бы все меня обогнали. Узнавать ноты на кла-

виатуре или набренчать какой-нибудь отрывок для самых начинающих мне еще удавалось. Но к сольфеджио я остался неподатлив. Это была не моя письменность.

Элементарные познания я за эти два года приобрел, однако теперь требовалось перейти к другим методам обучения. О том, чтобы отдать меня в пансионат, для моей матери и речи быть не могло. Охотно признаю, что в том возрасте я бы и сам от этого страдал. Так что я пошел в деревенскую школу.

Это была настоящая начальная школа, из добротного розового кирпича, какие понастроили во всех коммунах Франции согласно закону Жюлья Ферри. Классное помещение справа — для мальчиков, классное помещение слева — для девочек, по обе стороны здания мэрии.

У меня там был великолепный преподаватель, превосходный образец сельских учителей Третьей республики, прекрасно образованных, терпеливых, влюбленных в свое ремесло и целиком проникнутых благородным пониманием долга. Они обучили надежные поколения, а их потомство составило добрую часть университетской или политической элиты нации.

Разумеется, мой наставник прошел войну 1914 года, в пехоте. У него были очень коротко остриженные волосы, заостренные, начинающие седеть усы; держался он прямо и всегда был одет с достоинством. Летом носил панаму.

Под его началом было тридцать — сорок детей, разделенных на три возрастные группы, и он отлично со всеми справлялся, переходя от одних к дру-

гим, без всяких пауз: пока старшие решали арифметическую задачу, самых маленьких он заставлял читать по складам, а дав задание малышам, устраивал старшим диктант или чтение наизусть.

Он обладал особым искусством писать мелом на черной доске — с нажимом и без — и чинить карандаши, придавая им идеальную остроту. Зимой ему время от времени приходилось подбрасывать поленья в большую чугунную печку.

Его жена прижигала йодом ободранные во время перемены коленки и в полдень разогревала на своей плите котелки детворы, обитавшей на далеких хуторах.

Благословенно будь имя этого превосходного человека, Анри Фоше! У меня хранится фотография, где я в золоченом венке стою рядом с ним во время распределения наград — настоящих.

Я обязан ему тем, что узнал основные даты истории Франции и имена великих людей. Я также обязан ему уроками нравственности и гражданского воспитания, которым тогда уделяли большое внимание; учебник по этому предмету, описывая главные законы устройства страны, внушал: «Франция — славное отечество, и мы можем с гордостью говорить: “Мы французы!”»

Я обязан ему и той малостью, которую знаю о сельском хозяйстве и ботанике. Он дал мне задание сделать гербарий, и я составлял его, прогуливаясь по окрестностям. Еще и сегодня, работая над словарем Академий, я помню, что майоран — из семейства губоцветных, а губоцветные обладают четырехгранным стеблем. Как бы я узнал это без до-

рогого г-на Фоше? Иногда он поручал мне также отмечать поутру показания дождемера, установленного в его саду.

Относительность социального положения я осознал в тот день, когда, по случаю какого-то чтения, он задал нам вопрос: «Что бы вы сделали, если бы были богаты?»

Был ли я первым, кто решился ответить: «Если бы я был богатым, то...»? Я тотчас же услышал, как вокруг меня заерзали и изумленно, почти осуждающе зашептали. В глазах моих одноклассников, сыновей крестьян или мелких торговцев, я *уже* был богатым ребенком, так что вопрос не мог быть обращен ко мне, и с моей стороны было даже неприлично отвечать на него.

Может, именно это поддерживало некоторую дистанцию между нами? Мне запомнились только двое из них. Один, потому что у него были две сестры, с которыми он приходил иногда поиграть у нас в доме, а главное, потому что его отец занимался необычным ремеслом. Склонив черную бороду над планшетом, он рисовал маленькими кисточками какие-то тонкие линии и цветочки — эскизы рисунков для набивных тканей, которые продавали в деревнях.

С другим дело обстояло иначе. У него было призвание: он хотел стать пастухом. Долговязый, костлявый молчун с кротким взором. Его семья владела фермой в Буассэ, на холме, вдалеке от другого жилья. Зимой его руки были все в трещинках от мороза. «Почему ты хочешь быть пастухом?» — «Потому что остаешься один и можно смотреть на звезды».

Я вообразил, как он сидит перед своей кибиткой с опущенными оглоблями и ест густой суп, который ему принесли с фермы в глиняном горшке с двумя ручками. У его ног собака, перед ним спящие овцы, а он созерцает небо над ними.

Много лет спустя, тридцать быть может, желая показать женщине, которая потом стала моей второй супругой, края своего детства, я случайно завернул на это плато, узнал Буассэ и увидел прислонившегося к расшатанной ограде крупного паренька лет тринадцати-четырнадцати, долговязого, костлявого, с тощими ногами и выпирающими коленками — точную копию моего бывшего однокашника. Я остановил машину.

Даже в этом возрасте нормандские крестьяне осторожны и не слишком разговорчивы с «пришлыми».

Я спросил его: не ферма ли это семьи Минье? «Да...» И она все еще обитаема? «Да». А не знает ли он некоего Люсьена Минье, который учился в школе Ла - Круа? «Нет». Он еще хотел стать пастухом... «А, так он и стал...» И где же он теперь? «Помер. Это был мой дядя».

Я добился наконец некоторых объяснений. Во время оккупации немцы реквизировали стадо моего друга-пастуха. Он нашел себе работу на заводе, в нескольких лье от дома. И однажды, когда в цеху никого не было, он в результате несчастного случая упал в большой резервуар с гудроном. Утонул в липкой черноте. Какой ужасный конец для мальчугана, хотевшего жить, только глядя на небо! Его поглотил Аид, мир преисподней. Слишком символический образ злосчастной судьбы.

Чтобы дополнить мое начальное образование и чтобы я не отстал, когда поступлю в лицей, мой отец договорился с кюре, что тот будет давать мне уроки латыни.

Этот добряк священник, аббат Менге, был крупным краснолицым пикардийцем, прибывшим в епархию более тридцати лет назад. Он не воротил нос от вина и разъезжал в своей сутане и плоской шляпе на дамском велосипеде, мощно крутя педали. Иногда его встречали пешком, в белом стихаре, в сопровождении мальчика-певчего с колокольчиком — он шел соборовать умирающего.

Его проповеди были картинны. Он легко загорался, стучал по кафедре ладонью и метал громы и молнии в своих прихожан, которые посмели работать в воскресенье, не испросив у него разрешения. «Братья мои, из-за вас я опять поддамся гневу, своему главному пороку! Это вы повинны в грехе, за который Господь с меня спросит».

Катехизис мы с ним изучали в старой церкви с деревянными балками, а латинские склонения он мне вдалбливал в своем довольно бедном доме. Вскоре я начал переводить «*Epitome historiae graecae*»*.

Так проходили дни в те другие времена, пока мне не терпелось вырасти.

Если в самые первые свои годы я не всегда чувствовал твердую почву под ногами, поскольку попадал в очень разные круги, то в течение этого деревенского периода мать и отец проявляли ко мне самую крайнюю нежность и, сосредоточив на мне

* «Краткая греческая история» (лат.).

все свое внимание, старались дать мне ощущение стабильности. Я охотно это признаю. Но бывает ли детство когда-нибудь счастливой порой?

Иногда мне требовалось убежать на край луга, туда, где никто не мог меня услышать, и кричать, даже вопить, освобождая легкие от неудержимой и нерастраченной силы.

XIV

ГЛАВА, В КОТОРОЙ Я СРЕДИ ПРОЧЕГО УЗНАЮ, ЧТО ТАКОЕ ФРАНЦУЗСКАЯ АКАДЕМИЯ

Мне внушали, что детям подobaет не только вести себя особо вежливо с пожилыми людьми, но и искать их общества и всегда проявлять к ним интерес и внимание. «Во-первых, это доставит им удовольствие, — говаривал мне отец, — а во-вторых, они могут сообщить тебе такие вещи, которые ты ни от кого больше не узнаешь, когда они уйдут из жизни».

Пьер Тюрo-Данжен в моих глазах казался человеком пожилым, поскольку уже разменял пятый десяток. Он был владельцем замка и мэром деревни, а также располагал своим личным входом в церковь, через боковую дверь, которая сообщалась непосредственно с его парком, и отдельной скамьей рядом с хором.

Как бывший драгунский офицер, он отличался довольно молодецкими манерами и некоторой вежливой надменностью в тоне, но не нарочитой, а вполне естественной.

При отменной выправке и хорошо вылепленном лице его внешность чуть портила легкая кри-

визна носа, которую можно было бы счесть следствием несчастного случая, хотя она была врожденной, поскольку у обоих его братьев, сенатора от Кальвадоса и археолога, члена Академии, она тоже имелаась.

Он женился на девице Леиде, родившейся в большой банкирской семье; она была не слишком красива лицом, но взгляд ее дивных голубых глаз лучился такой добротой, что в молодости она наверняка походила на княжну Марию из «Войны и мира» Толстого.

Оба души друг в друге не чаяли. Как это часто случается с парами, которым было отказано в потомстве, их умиляло присутствие детей. Клер Тюро-Данжен вела в особой тетради учет подарков, которые делала на каждое Рождество своим пятидесяти двум племянникам и племянницам, чтобы не подарить два раза подряд одно и то же.

Зазывая моих родителей к себе на чай, они всегда приглашали и меня.

Как раз в библиотеке Пьера Тюро-Данжена, сплошь обшитой панелями светлого дерева, я и открыл для себя Французскую Академию. Поскольку отец нашего гостеприимца, Франсуа Тюро-Данжен, историк Орлеанского дома, был в начале века ее постоянным секретарем.

Там висели, доступные моему любопытству и восхищению, рисунки и картины, где он был изображен в зеленом фраке, сидящий под куполом Академии в том самом кресле, которое я займу шестьдесят лет спустя.

Знаки, которые подает нам судьба, мы распознаем и понимаем лишь много лет спустя. Иногда,

работая за тем же мраморным столом, я вспоминаю те далекие мгновения и задаюсь вопросом: я ли вижу того бывшего ребенка или же это он на меня смотрит?

Я в долгу перед Пьером Тюро-Данженом за то, что он объяснил мне, чем является Академия, как она была основана, какова ее миссия и что она собой представляла в жизни и истории Франции.

Я ему обязан также своим первым интересом к псовой охоте. Сколько копыт добытых им оленей, косуль, кабанов украшали его вестибюль! Когда охотники из окрестностей Эвре собирались травить зверя неподалеку от нашей деревни, он всегда участвовал. Я видел, как они проезжали по Главной улице: все в красных костюмах, свора лает, трубы трубят.

Возвращаясь из школы, я часто встречал Пьера Тюро-Данжена, едущего верхом — на прогулку или в мэрию. За ним следовали два его пса, Люк и Марк Аврелий, один грифон, другой что-то вроде сенбернара. Пьер Тюро-Данжен всегда останавливался, протягивал мне руку с высоты своего коня и перебрасывался со мной парой слов.

У меня сохранилось воспоминание об одном летнем дне той прекрасной нормандской поры. Я тогда забавлялся, спиливая ветки засохшего грушевого дерева, срубленного в поле, которое мой отец приобрел, чтобы округлить свои владения.

По дороге вдоль этого поля проходил Пьер Тюро-Данжен, опираясь вместо трости на длинную палку с кривым лезвием, которым подрезают корни чертополоха, поскольку возвращался с осмотра

своих земель, а за ним, как всегда, следовали Люк и Марк Аврелий. Тюр-Данжен был в канотье и колониальном костюме из белого полотна, какие носил в Африке, когда ездил туда по делам в качестве администратора компании «Сен-Гобен». В дни большой жары ему случалось надевать их и здесь.

Он остановился рядом со старым кизилом. Это дерево почти исчезло из наших полей; ягоды у него продолговатые, красные и кисловатые, а древесина тверже, чем у любого другого. Из нее прежде делали рукоятки для орудий.

Я поспешил навстречу, чтобы поздороваться с нашим дружелюбным соседом. «Морис, — сказал он мне, — знаете ли вы, кто такой Гладстоун?..» — «Нет, мсье».

Я уже тогда решил никогда не притворяться, будто знаю то, чего не знаю, потому что иначе лишил бы себя возможности узнать это.

«Спросите у вашего уважаемого батюшки... Гладстоун был выдающимся английским министром. В дни своего досуга, в деревне, он любил рубить дрова. И люди довольно дорого покупали эти поленья, потому что их нарубил выдающийся человек. — Он сделал паузу, улыбнулся мне и добавил: — Ну что ж, ваши дрова тоже должны стоить недешево, поскольку их нарубил будущий выдающийся человек». Ребенок не забывает такие слова.

Пьер Тюр-Данжен, важная фигура моих юных лет, умер рано, от болезни, подхваченной как раз в Африке. Переписка, которую его вдова долго поддерживала со мной, вполне подтвердила, что он и в самом деле был моим первым другом: он верил в

мою судьбу. Гладстоуном я не стал, но, по крайней мере, занимаю место, на котором он видел своего отца.

Два события отмечают год моего десятилетия.

Первое было празднованием полувека со дня изобретения фонографа Шарлем Кросом. «Матен» вышла с заголовком: «Шарль Крос по справедливости удостоен славы».

Меня сочли слишком юным, чтобы присутствовать на церемонии, состоявшейся в большом амфитеатре Сорбонны. Но подробно о ней рассказали. Полвека спустя мне предстояло участвовать в праздновании столетия.

В начале мая того 1927 года Нэнжессе, ас войны, за которым числилось сорок пять побед в небе, и его соратник Коли попытались перелететь через Атлантику, из Франции в Америку, но сгинули где-то в океане вместе со своим самолетом «Белая птица».

Три недели спустя это успешно удалось Чарльзу Линдбергу, совершившему перелет в противоположном направлении за 33 часа 39 минут. Его приземление в Бурже было встречено с иступленным восторгом, пресса только и писала, что об этом подвиге. Слыша вокруг себя эти восхищенные крики, я разрыдался. Меня спросили о причине моего горя. «Это потому что у французов не вышло. У Нэнжессе с Коли».

Патриотизм врожден. Воспитание служит лишь его развитию.

Помню установку в доме первого радиоприемника — на лампах, в корпусе красного дерева. Радио

в те времена еще называли беспроводным телеграфом. Мне было десять лет, а дату легко определить, потому что в тот день в школу я не ходил, значит, четверг, школьный выходной день: 29 ноября 1928 года. Однако первое, что я услышал из этого волшебного ларца, была полная ретрансляция приема во Французскую Академию Мориса Палеолога, дипломата и историка, унаследовавшего свою фамилию от византийских императоров. Принимал его Луи Барту, политический деятель, тоже историк, бывший председатель совета и неоднократно министр; собственно, он даже из жизни ушел, будучи на своем посту в министерстве иностранных дел, погибнув вместе с королем Югославии Александром I в Марселе, когда на того совершили покушение.

Таким образом, самое современное средство связи под традиционную барабанную дробь донесло до меня блеск и славу нашего стариннейшего учреждения. Так Академия была явлена мне во второй раз.

Несколько лет назад я из любопытства прочитал произнесенные тогда речи. И вот что обнаружил в речи Барту: «Академия, которую кардинал Ришелье хотел сделать своего рода министерством французского ума...»; а в речи Мориса Палеолога: «Знак сильных склонностей — их раннее развитие».

Какое место в моем детском пантеоне занимал Жозеф Кессель? Он посылал моей матери каждую из своих опубликованных книг, а мне — теплые письма на дни рождения, я нашел их по меньшей мере

с десятков, написанных его изящным мелким почерком. Пресса доносила нам эхо его растущей известности. Редко, очень редко он заезжал провести с нами день. Этот геркулес, весивший тогда более сотни кило, сваливался на нас либо с другого конца света, либо после ночи, проведенной в каком-нибудь русском кабачке в Париже. Его голова была заполнена далекими пейзажами и необычайными персонажами. Но доехать до деревни, хоть и такой близкой, как наша, казалось ему настоящей экспедицией. Этот искатель приключений никогда не водил и не будет водить авто. Пароходы устраивали его гораздо больше, нежели поезда с их пересадками на второстепенных линиях, а огород казался чем-то еще более чуждым, чем пустыня.

В присутствии моего отца он всегда выглядел немного смущенным. Безоговорочно признавая в Рене Дрюоне наряду с благородством души любовь, которую тот ко мне питал, он все же с трудом привыкал к этой передаче отцовства. И в то время как Рене Дрюон с величайшей естественностью говорил «твой дядя Жеф», Кессель так и не усвоил по отношению к нему ответную непринужденность.

К тому же, хотя сам был атеистом и вышел из атеистической семьи, но весьма привязанный из-за влияния своей матери к еврейским традициям, Кессель настороженно относился к католической религии, в которой я был воспитан. Что отнюдь нас не роднило. Мы сойдемся позже и на других путях.

Я ждал своего первого причастия с искренней верой в душе. Могу даже говорить о некоем мистическом периоде в своей жизни, если это определение может быть применимо к одиннадцатилетнему ребенку.

На конфирмацию в приход прибыл епископ, с большой торжественностью и при небывалом стечении народа. Стоя на возвышении рядом с купелью, я, как лучший ученик по катехизису, должен был повторно произносить крестильные обеты. Церковь была полна. Хорошо ли я понимал, что значит *«отречься от Сатаны, от соблазнов его и от дел его»?* Во всяком случае, я подтвердил это от всего сердца. И получил легкую ритуальную пощечину двумя епископскими пальцами.

С тех пор Сатана — демон, лукавый, или как там его еще обозначают, — сохраняет в глубине моей души некую реальность. Сатану уже вычеркнули из этого мира. Он потерял свои рога и раздвоенные копыта. Дал забыть себя. Но все же во Вселенной остались силы Зла. И мы знаем, что происходит, когда они срываются с цепи в отдельных душах и в целых народах. Простая деревенская вера заставляла, по крайней мере, ощущать их присутствие.

Подготовка к таинствам была тогда тщательной и требовательной. И сопровождалась, конечно, некоторыми внешними проявлениями. Костюм был важен. Для девочек — белое платьице, предвосхищавшее наряд невесты; для мальчиков — синий костюм с итонским воротничком и белой шелковой нарукавной повязкой. Я впервые надел длинные брюки. Свеча, которую держали в течение всей це-

ремони, была толстой и тяжелой. Тяжелым был также красный с золотой бахромой балдахин, который я нес вместе с другими во время шествия. Соблюдение поста перед причастием было неукоснительным, мы чуть ли не слюну остерегались глотать. Из-за всего этого ребенок приближался к алтарю в состоянии крайнего волнения. Но притом в его душу западало зерно духовности, которое потом прорастало уже как могло, в зависимости от почвы и жизненных обстоятельств.

Первое причастие было большим семейным празднеством. Прибывала вся родня, порой очень издалека, привозя подарки: молитвенники, распятия, позолоченные часы.

Кроме родственников из Парижа прибыли, чтобы присутствовать на моем первом причастии и разделить с нами праздничную трапезу, последовавшую за церемонией, два весьма дородных человека, которых невозможно было не заметить.

Одним из них был Поль Пуаре, о котором я недавно рассказывал. Все такой же великолепный, несмотря на свои невзгоды, и по-прежнему необычный, поскольку явился — ошеломляющее новшество! — в сопровождении нарочно нанятого для этого случая кинооператора, который своей камерой на деревянной треноге снимал все важные моменты дня. «Эта пленка — мой подарок, — сказал мне Пуаре. — Память на всю жизнь». Ее целлулоидная основа уже давно рассыпалась в прах.

Другой гость, друг отцовской семьи, был еще более внушительен, без помощи всякой светской или кинематографической знаменитости. Хватало его белого облачения.

Преподобный отец Паде, провинциал ордена доминиканцев, безмятежно и непрерываемо царил в обители по адресу: улица Фобур Сент-Оноре, 222, осуществляя власть над четырьмя сотнями монахов, распределенных по тринадцати монастырям провинции Франция; под его юрисдикцией состояли также миссии в Шотландии, Швеции и Палестине. Но какими бы ни были его пасторские и административные обязанности, он обладал присущим крупным духовным деятелям свойством: необычайной доступностью для отдельных душ, причем особую нежность проявлял к детям, как это доказывал его приход. Он обращался к ним «батюшка мой», «матушка моя», словно видел в каждом из них зерно монастырского призвания.

Отец Паде происходил из Артуа, из крестьянской семьи. Крупный, тяжеловесный, с выпирающим из-под облачения животом, он никогда не разваливался в кресле, но держался прямо. Его лицо было почти без ресниц и бровей, но зато обладало широкими плоскими щеками и мощным подбородком; совершенно плешивая голова без лишних выпуклостей казалась кубом, грубо вытесанным из неподатливого дерева.

Он клал четыре кусочка сахара в кофе; но в церкви заражал всех истовостью своей молитвы; когда он с вами говорил, его взгляд наполнял душу.

Вечером того дня, полного волнений, ладана, звуков фисгармонии, запахов воска, голосов, шума, поцелуев и поздравлений, а также усталости, я, мечтая о будущем, хотел стать не знаменитым кутюрье или кинематографистом, а доминиканцем.

Отец Паде, с которым я виделся время от времени на протяжении всего своего детства, умер через несколько лет, произнеся одно из тех предсмертных слов, которые определяют всю жизнь человека. Заболев пневмонией и чувствуя как-то ночью, что конец близок, он попросил монаха, который за ним ухаживал, созвать всех братьев обители. А когда те собрались, с трудом поместившись в его келье, он сказал им просто, уже угасающим голосом: «Братья мои, полагаю, что Господь призовет меня сегодня ночью. Хочу сказать вам только одно: любите друг друга». И впал в агонию.

Доминиканцем я не стал, но построил по образу отца Паде единственный по-настоящему добрый и достойный уважения характер в «Сильных мира сего» — отца Будре, искупающего грехи всех остальных и в первую очередь, надеюсь, самого автора, доказывая, что у него в душе не одна лишь чернота и жестокость.

Я покончу с воспоминаниями, которые оставил во мне этот период детства, упомянув вполне классические каникулы на нормандском побережье. Мы провели август в шале, снятом в Уистреам-Рива-белла. Пляжные игры, замки из песка, лов креветок. Отец, который производил сильное впечатление на купальщиков, ныряя в воду с самого высокого трамплина опасным задним прыжком, тщетно пытался научить меня плавать. Иногда перед обедом меня брали на террасу казино, где мои родители встречались с друзьями, а я имел право выпить гренадину под музыку маленького оркестра, игравшего модные мелодии.

На дощатых мостках вдоль пляжа, окаймленных тентами и купальными кабинками, как на всех нормандских курортах от Трувиля до Курселя, мы встречали Аристида Бриана, совершавшего свою ежевечернюю прогулку. В здешнем порту стояло его маленькое парусное суденышко, а в деревне он был почти нашим соседом, поскольку владел в Кошереле на Эре, всего в нескольких километрах от Ла-Круа-Сен-Лефруа, имением, где, по слухам, принимал своих красивых подружек из «Комеди Франсез».

Почти постоянный министр иностранных дел (когда не был председателем совета), этот пожилой человек с округлыми плечами, густыми усами и магическим голосом соединял с крайней политической беспринципностью лирическую и несокрушимую веру в единение народов.

Его оспаривали, подвергали нападкам, хулили по любому поводу, однако он был незаменим даже для своих наихудших противников и, оправившись от всего, продолжал вселять в людские сердца веру, от которой ежедневные потоки клеветы давно должны были бы его отвратить.

Сколько раз накануне своего неминуемого извержения поднимался он на трибуну палаты изнуренный, с поникшей головой, неся тяжелые папки с документацией, которые даже не откроет, и, путившись в несравненную ораторскую импровизацию, переубеждал ассамблею!

Хотя Андре Тардье, соперник Клемансо и один из тех, кто подписал Версальский договор, называл политику Бриана «политикой дохлого пса, плы-

вущего по течению», это не помешало Бриану заслужить прозвание Паломник мира.

Его упорная надежда на франко-германское примирение дорого обошлась Франции, внушая нам иллюзию, что «это никогда не повторится», в то время как Германия думала только о реванше за свое поражение. Апостольская миссия Бриана, мечтавшего о согласии между всеми нациями Европы, опередила свое время.

Достигнув двенадцати лет, я отправился сдавать выпускной экзамен в Гайон — главное селение кантона, над которым возвышались остатки огромного замка, построенного во времена Возрождения кардиналом Амбуазским. Я получил отметку «очень хорошо».

Для церемонии распределения наград мне пришлось сочинить свою первую речь, которую я произнес перед Пьером Тюро-Данженом и членами муниципального совета. Осмеливаюсь воспроизвести ее заключительные слова, поскольку они тоже свидетельство времени: «Наконец, в этот торжественный день, национальный праздник 14 июля, мы обещаем всем учиться и дальше, учиться всегда, работать на благо нашей великой отчизны и поддерживать ее на том высоком месте, которое она занимает в мире».

Обнаружив в восемьдесят с лишком лет эту детскую фразу, я задаюсь вопросом: а разве не ее твердил я в конечном счете на протяжении всей своей жизни?

В поощрение отец и мать свозили меня в Мон-Сен-Мишель, это чудо созидательной веры, чьи крутые улочки наполнились запахами омлета и вафель.

Мы посетили и Сен-Мало, сохранивший за своими крепостными стенами большие, крытые асбидным сланцем дома судовладельцев и память о корсарах. Мне показалось восхитительным спать в гостинице «Франция», гостинице Шатобриана.

Потом мы вернулись и провели в нашем тихом доме конец прекрасного лета.

Нормандские годы закончились.

СОДЕРЖАНИЕ



Предисловие	5
Книга первая. ТЕ, ЧЕРЕЗ КОГО...	17
Глава I. Если мы задумаемся о посюстороннем	19
Глава II. В одном градусе от экватора	23
Глава III. В Нарбоннской стороне	31
Глава IV. Братья Кросы: художник и поэт	38
Глава V. Появление Артюра Рембо	49
Глава VI. Антуан Крос, врач-литератор и король Араукании	53
Глава VII. Иллюзорное королевство	58
Глава VIII. Поворот во Фландрию	69
Глава IX. На другом краю Европы: забытая империя	80
Глава X. Караван-сарай на Урале	86
Глава XI. Планета по диагонали	96
Глава XII. Два русско-французских подростка	104
Глава XIII. Последний этап	114
Глава XIV. Самоубийство Рюи Бласа	120
Книга вторая. Я НЕ ЛЮБИЛ ДЕТСТВО	129
Глава I. Юпитер в небесной глубине	131
Глава II. Археология сознания	136
Глава III. Отбор воспоминаний	145
Глава IV. Трагедийная мать	152
Глава V. Дарованное имя	156
Глава VI. Почтенный род	165
Глава VII. Город в наследство	169
Глава VIII. Человек честный, верный и прямой	180

Глава IX.	Лето в Эльзасе	188
Глава X.	Отец — наконец-то!	192
Глава XI.	Деревня былых времен	195
Глава XII.	Любови, Наслаждения и Органы	206
Глава XIII.	Из класса призраков в деревенскую школу	214
Глава XIV.	Глава, в которой я среди прочего узнаю, что такое Французская Академия	222

Литературно-художественное издание

Морис Дрюон

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ

Воспоминания

Ответственный редактор *О. Рейнгеверц*
Выпускающий редактор *В. Краснощекова*
Художественный редактор *Г. Федотов*
Технический редактор *О. Шубик*
Компьютерная верстка *М. Львов*
Корректор *В. Дроздова*

ООО «Издательский дом «Домино».
191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 60.
Тел. (812) 272-99-39. E-mail: dominospb@hotmail.ru

ООО «Издательство «ЭКСМО»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел. 411-68-86, 956-39-21.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Подписано в печать 17.02.2011. Формат 84x108 1/32.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 12,6.
Тираж 14000 экз. Заказ 4949.

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.
www.оаомпк.ру, www.оаомпк.рф тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685

ISBN 978-5-699-48918-9



9 785699 489169 >